

**Николай
Матвеевич
Грибачёв**

День и две ночи

И сказал Староиванников:

– Безногий душой крыльев не придумает...

И еще:

– Многие ловили ртом ворон, но не было случая, чтобы кто-нибудь поймал...

В октябре сорок первого в инженерной части, строившей оборонительные рубежи под Тихоновой Пустыней, мне дали командировку в Москву с дополнительным поручением купить патефон с пластинками, несколько настольных часов и керосиновые лампы. Теперь я искренне удивляюсь нелепости этого заказа, – до того ли было-то! – но в то время и командировку и заказ принял с легкой душой. На Тихоновой Пустыни поработали немецкие бомбардировщики, на части станционных путей рельсы были скручены взрывами, тяжело чадил горевший элеватор. Пассажирские поезда не ходили, и я отправился в свою недлинную поездку, не зная, что уже никогда не возвращусь назад, на обычном товарняке, который то, словно угорелый, лязгая и раскачиваясь, летел на всех парах среди роняющих листву перелесков, то – дорогу бомбили – подолгу зря пытел на полустанках или на середине перегона. Соответственно и высадился я на станции Москва-товарная и оттуда по ночным путям и путанице стрелок, так ни разу и не наткнувшись на проверку документов, – тоже удивительное дело! – прибыл в град столичный.

А затем все завертелось и закружилось: командировка кончилась, закупки были произведены, но началось наступление немцев, часть исчезла, словно щепка в водовороте, и я безрезультатно, насидевшись предварительно в коридорах, пытался разузнать о ней по военным учреждениям, где самым стереотипным ответом было: "Не до вас!" Два раза доезжал я до Малоярославца, вел расспросы в штабе какой-то армии – связаться помог поэт Сергей Фиксин, работавший в военной газете, – но все было напрасно. Я потерялся, как мальчишка в давке. И вдобавок меня угнетала тяжелая поклажа – слава богу, что керосиновых ламп не нашлось – и особенно часы с недельным заводом, на полную катушку. "Тик-так, тик-так!" – слышал я в узкой и сырой щели перед тем, как рвануть бомбам; "тик-так, тик-так!" – раздавалось над ухом, когда я прятал голову за пакетом во время

пулеметного обстрела. Но, странное дело, когда часы наконец остановились, я вместо облегчения испытал щемящую тоску; молчание их усиливало чувство одиночества и напоминало о том, сколько времени уже прошло зря.

В таком состоянии подавленности и сидел я перед вечером хмурого дня на Киевском вокзале, где, за неимением другого пристанища, обычно и ночевал. Пахло здесь шинельным сукном, оружейным маслом, кожей, табаком. Здание вокзала, похожее на огромную сумеречную пещеру, сбивало голоса, шорох шагов, покашливание, звяканье металла в один комок глуховатого гула, который не помещался в ушах. Пол шевелился от спящих вповалку солдат, солдаты толпились у газетных киосков и касс, выходили на улицу и входили – казалось, за стенами ворочается серый океан, вкатывающий и отсасывающий одну и ту же волну. Пожилой солдат напротив меня, сняв пилотку и пригладив темные волосы на лысеющей голове, шевелил черными усами, обнажая два металлических зуба, говорил соседу, молодому парню со сдобными щеками:

- Ка-ак жажнет бомба сюда, а? Месиво будет.
- Чего бомба? – беспокоился молодой.
- Если бы, говорю, кинули.
- Так самолетов-то нет, тревогу не объявляли.
- Нет. Я к примеру.
- Стращаешь, значит...

Слева от них разбитной худенький солдат в расхристанной шинелишке толкал в плечо посапывающего соседа.

- Слушай, пиво дают... Слышь?
- Какое такое пиво?
- Обыкновенное. По кружечке перед дорогой, а?
- Где дают?
- Да тут за углом.
- Денег нет у меня.

– Да есть деньги, слышь? У меня. Ведь когда его, этого пива, потом и выпьешь.

- А место?
- Чего место?

– Вопрутся. Соображаешь?

– Так мы сидоры оставим и присмотреть попросим. Слышь? Пошли...

Постепенно, убаюканный гулом и голосами, я стал дремать и очнулся оттого, что между мной и соседом мягко, но настойчиво втискивался кто-то в кожаном реглане. Я подвинулся сколько мог, даже не посмотрев, мне было все равно.

Лишь спустя некоторое время в поле моего зрения попала нога, обутая в стоптанный, но с шиком начищенный сапог, – она то осторожно выдвигалась в узкую щель между двумя спящими солдатами, то подгибалась и пряталась.

– И сказал Староиванников, – слышался молодой басок, – лучше всего носить свою ногу в кармане соседа, но так как никто этого не разрешает, приходится аккуратно наворачивать портянки. Болит.

– Почему? – машинально спросил я.

– Натер, когда драпал...

Бегство на фронте мне в это время казалось крайне предосудительным, и я с некоторым недоумением посмотрел на моего нового соседа, который так непринужденно и без нужды признавался в этом. Он был в потертом кожаном реглане, недавно побрит, серые глаза смотрели внимательно и добродушно. Лицо с запавшими щеками в отходящем загаре, подбородок мягкий, но из волевых, нос с мясистыми крыльями, чуть вздернутый. Словом, обличье из тех, что восемьсот на тысячу.

– Хотите сказать, когда отступали? – попытался уточнить я.

– Нет, драпал. Вам еще не приходилось?

– Не приходилось. И далеко вы это самое... драпали?

– Из Вельских лесов.

– Где это?

– Где-то близко от Белоруссии... Бабы кормили похлебкой меня, деды снабжали самосадом. А вы тут поезда ждете или смысл жизни ищете?

– При чем тут смысл жизни?

– Да так... Теперь многие увлекаются: быть, не быть?

– А вы?

– Какой из Васьки принц датский! Я часть ищу. Потеряла меня и в бюро находок не заявила.

Рассказал: он лейтенант, авиатехник, был оставлен при поврежденном бомбардировщике в этих самых Вельских лесах – караулить, пока не вытащат.

Досиделся до прорыва немецких танков, которые расстреляли бомбардировщик вторично, а сам он, поняв, что попал в окружение, "ширнул по лесам" и больше четырех недель, сторонясь больших дорог, пробирался к своим. Три дня назад заехал в Кубинку, жены нет, дом вверх дном и щепки по дороге - разбомбили.

Выяснилось, однако, что жена жива, уехала. В Москве толку никакого не добился, эвакуация да пертурбации, но один майор сказал, что видел два дня назад какой-то аэродром неподалеку от железной дороги Наро-Фоминск – Малоярославец.

– Махнем вместе, а? – предложил он, когда я, в свою очередь, изложил ему мою одиссею. – Как говорил Староиванников, лучше молчать вдвоем, чем петь одному.

– Что это за древний мудрец такой – Староиванников?

– Он не древний, он комиссар нашей части. Худущий такой майор, но толковый, присловья любит. Вот и пошло: "Как говорил Староиванников". Так махнем? Главное – хоть за что-нибудь зацепиться, тогда и весь клубок легче разматывать.

– Я уже наездился. От свертка на руках кровавые мозоли.

– А что в нем?

Я рассказал.

– Сверток придется оставить, – решил он. – Музыки нам теперь и без патефона хватит.

– Казенное имущество.

– Из личных средств возместите. Водятся еще? А нету – потом отработаете. За маневренность в такую пору никакая цена не дорога.

Идея совместной поездки мне понравилась, но я все же решил посоветоваться с комендантом вокзала: нельзя ли сдать сверток под расписку?

В делах войны и обстановке я в то время разбирался столько же, сколько щепка в причинах и уровне половодья, которое ее

несет. Комендант долго смотрел на меня шальными от бессонницы глазами, буркнул:

– Придумаете, веревку с пожара тащить... Положите ваш сверток в коридоре, караулить там некому, но и красть тоже. От нас теперь одна дорога – на фронт!

Я опасливо посмотрел в коридор. Народ тут толкался круглосуточно, да что же делать? Сунул сверток на подоконник, мысленно попрощался с ним и вышел. Теперь я так же, как и мой попутчик, был только с легким, почти ничего не весившим вещмешком: пара белья, бритва, мыло, носовые платки и две булки.

– А теперь пошли харчиться, – предложил лейтенант. – На пустой желудок и мысль не бежит...

Ресторан при вокзале, не тот, что теперь, а со стороны нынешних пригородных касс, работал исправно и даже не был переполнен. Мы поели, выпили бутылку вина, за которым перешли на "ты", – водки, между прочим, не подавали – и в сумерки сели в поезд. На вагонах еще было написано "Москва – Киев", но в пути нас предупредили, что дальше Наро-Фоминска движения уже нет. Так мы и вылезли, попросившись на постой в первый попавшийся дом, переночевали на полу. Затемно попили чаю, прикончив две мои булки, а на рассвете, сизом, в голубоватой измороси, нашли в районе вокзала полуторку, шофер которой, заведя ручкой мотор, собирался залезть в кабину. Машина шла на Чубуково, оттуда – в район Боровска.

– Подходит, – сказал попутчик.

– В кузове у меня взрывчатка и детонаторы, – предупредил шофер.

– И что?

– Бомба попадет – кинет выше облаков.

– Попадет – и так кинет. Сам-то едешь?

– У меня служба.

– И нам не на курорт.

– Мне же веселее, – засмеялся шофер. – О чем речь?

Солнце, казалось, продиралось с трудом сквозь морозный туман, но, продравшись, быстро превратило иней в росу, весело блестящую на буром жнивье и рыжих листьях березок. Дорога

тоже заискрилась бликами, но стала скользкой, пришлось сбавлять скорость. Между тем с каждой минутой все настойчивее, все злее гудели в небе немецкие самолеты. Ни до этого, ни после во время войны не видел я столько авиации в одном месте – казалось, кто-то раздражил гигантский рой ос и они, с желтизной по брюшку, с алюминиевым мерцанием крыльев, назойливо и упорно жалили, кусали осеннюю землю, пытавшуюся перед тем, как отойти ко сну, погреться на солнышке. Кое-где поднялись дымы пожаров, и самый большой в районе Наро-Фоминска: там, вспомнили мы, стояли на путях цистерны с нефтью.

Лишь часам к одиннадцати или двенадцати выбрались мы на шоссе у Чубукова, и картина, открывшаяся нам, могла только повергнуть в уныние: по самому шоссе и по обочинам, всячески прижимаясь к дубнякам и березнякам, двигались сплошным потоком отступающие войска – артиллерия, машины, обозы, кухни, пехота. Со стороны казалось, что потоком этим никто не управляет, а хлещет он сам, как вода из пробитой плотины, и ни остановить его, ни поправить в разумное русло невозможно.

– Драпают, – еще стесняясь этого слова и ужасаясь его смыслу, сказал я. – Драпают, а мы что же?

– Кто драпает? – неожиданно сухо вато переспросил лейтенант.

– Да вот...

– Нет, это отход по приказу. Когда драпают – там каждый сам по себе, куда глаза глядят. А глаза глядят, но не видят...

На выезде из Чубукова нас остановил капитан погранслужбы, спросил, куда едем, потребовал документы. Сказал:

– Зря едете. И груз тащите зря.

– Фронт далеко?

– Он движется, фронт. Смотреть умеете?

– Мы все же поедem, – сказал попутчик.

– Мое дело – предостеречь.

– Не тому дождя бояться, кто в воде по горло, а? Поехали...

По правде сказать, я уже стал раскаиваться: и поупок лишился, и часть найти в таких условиях невозможно, и, по всей вероятности, аэродром, который якобы должен находиться впереди, не более как химера. Уж на это и моей сообразительности

хватало! Однако говорить попутчику я ничего не стал: чувствовал, что переубедить его не удастся, а остаться одному, примкнув к отступающим, лишиться товарища и последней, хотя бы мифической цели было даже страшнее, чем двигаться вперед. К тому же спокойная езда почти тут же и кончилась, и началась цепь происшествий, в которых я никакой самостоятельной роли не играл, был бычком на веревочке.

Началось с того, что на подъезде к мостику через небольшую речонку мы заметили, что идущую на подъем дорогу словно бы разметают гигантской метлой – машины притирались на обочине, люди, как листья под ветром, сыпались в кюветы. Шофер наш первым оценил щекотливость положения – машина находилась у моста, самого соблазнительного места для бомбежки, – и кинулся в лес направо. Мы с попутчиком, побросав вещмешки, побежали налево – я по лугу, поближе к речке, он подальше, по низкорослому дубняку. Самолетов мы еще не видели, они шли низко над лесом, но по гулу можно было догадываться, что их много. Мы уже отбежали шагов на пятьдесят, когда раздался грустный, какой-то по-осеннему тоскливый свист фугасок. Не рассудочно, а почти кожей, физически ощутив близость бомб, я ткнулся в побуревшую травку, почувствовал влажный запах торфа и трефоли, закрыл щеки брезентовыми зелеными рукавицами с двумя пальцами на каждой. Затем страшный удар сотряс почву, краем глаза я успел увидеть, как земля разверзлась и стала дыбом, вверху что-то лязгнуло и закрипело, – или это мне показалось? – меня стукнуло в спину, и я с последней мыслью, что всему конец, провалился в коричневую болотную тьму...

Очнулся я лежащим на спине, в глаза больно ударил синий свет из облачных промоин. Самолеты – их было около тридцати – еще были поблизости, а мой попутчик отирал мне лицо куском бинта. Увидев, что я открыл глаза и пришел в себя, сказал:

– Совсем тебя торфом завалило и сучьями закидало, только сапоги и торчали наружу. Ран нет, я уже просмотрел, но малость приконтузило.

– Странно, что не убило.

– Ничего странного – все по закону. Бомбы упали почти рядом и кучно, но глубоко ушли в торф. И оказался ты в мертвой зоне для осколков. – Забеспокоился: – Кто-то бежал почти рядом справа от меня, а не видно.

– Может, ушел?

– Нет, я присматривался. Вставай-ка и пошли искать. В голове у меня шумело, как на праздничном базаре, издалека звонил какой-то колокол, но жить было можно. Приходилось только отирать платком кровь, сочившуюся изо рта и носа, — была неприятно солоновата и щекотала. В редких молодых дубках мы нашли сержанта, совсем молоденького, с пушком на щеках. Пилотка свалилась, ветер лоснился по русому ежику головы, вещмешок с какими-то мазутными пятнами сбился на шею. Он был без сознания, подплывал кровью — крупный осколок попал в бок чуть выше бедра.

– Не успел вовремя лечь, — вздохнул попутчик. — Я займусь им, а ты беги искать врача, там недалеко от нас я санитарную машину видел. Поскорее!

Санитарную машину я нашел, но в ней никого не было; самолеты все еще обстреливали дорогу. Стал кричать. Из березняка, стряхивая с гимнастерки желтые и красноватые листья, вышел майор медицинской службы — высокий, с длинной жилистой шеей и при всем том с брюшком, уверенно круглившимся под плохо затянутым ремнем, и сестра, невысокая, круглолицая и румяная — яблоко с глазами.

– Возьмите носилки и несите его сюда, — приказал врач, узнав о раненом. — Так быстрее будет.

– Может, и я схожу? — спросила сестра.

– Иди.

– Меня зовут Тоня, — представилась она, едва мы перешли кювет. — Доктор у нас толковый, вы не беспокойтесь. Только пистолета не носит, а без пистолета какой военный, верно? Вот вы при пистолете — другое дело.

– Давно на фронте?

– А мы на фронте и не были, только приехали — отступить приказали.

Раненого, который так и не приходил в сознание, втроем донесли до машины.

– Шок, — сказал майор. — И ранение серьезное. Тоня, йод, шприц, бинты — живо! А вы, лейтенант, можете двигаться.

– Будет жить сержант?

– Прооперируем — увидим. Топайте по своим делам, привет!..

Над дорогой снова шли самолеты. Лицо сестры побелело от страха, черные глаза округлились, как две залитые тушью буквы "о", но хлопоты она свои продолжала. Врач уже не обращал внимания ни на трескотню, ни на нас. Мы пошли к машине, а когда примостились снова в кузове на взрывчатке, попутчик сказал: – Вовремя нос в землю сунул, иначе имел бы дырки в голове. Практику где проходил?

– В Смоленске, в Ярцеве и в других местах.

– Опыт – вещь! Вот наберемся – попищит у нас фриц!

– Думаешь, и отступаем потому, что опыта не хватает?

– Ну, не совсем так просто, но отчасти и так. Немцы до нас кое-чему в Европе научились, а у нас и кадровики практиковались только на мишенях. Полигонная психология! Такому всегда кажется, что каждая пуля и снаряд в него летят, каждый самолет его персонально ищет. На себе испытал. А привыкнет – и не так страшен черт. Немца живого вблизи видел?

– Парашютиста пленного. По улице вели. С кипрским загаром, сволочь, картинно шел, как на параде.

– Вера у них в себя есть! А, в общем, ничего особенного, тоже на двух ногах ходят. И пуля хорошо берет. Когда я от самолета в лес чесал, за мной один покатился – из десанта на танке. Шустрый на ногу. Мундирчик расстегнут, грудь рыжей волосной наружу. Из автомата посыпает, кричит что-то. Я чувствую – вес у меня побольше, не уйти. Прилег за сосной, подождав малость, и стукнул из пистолета. Результат обыкновенный – свалился. Другие же и гнаться перестали, поостереглись... Ничего, при выдержке бить можно!

– Это, наверное, приятное сознание – самому убить врага.

– Ничего, между прочим, интересного. Не о нем, а о себе думаешь. А он как наваждение, если бы можно было крестом откреститься, и стрелять не стоило бы. Но, как говорил Староиванников, на погосте живучи, всех не переплачешь.

– Это не Староиванников, а Лесков.

– Разве? Тоже умен был!..

За железнодорожным переездом, где нас накоротке еще раз пробомбили, свернули вправо и мимо какого-то заводика, по дороге в густой еще зелени раkit попали прямо на край полевого аэродрома. Шофер на полуторке сразу же уехал, мы с лейтенантом

остались. Отсюда, с края аэродрома, открывалось много любопытного. Левее, к Верее, и правее, к Боровску, далеко, насколько хватал глаз, лежали темно-серые пятна полей среди рощиц, словно бы выполненных из старой бронзы – желтизна с прозеленью. Среди них в разных местах поднимались одинокие столбы дыма – горели села. Еще дальше, у края горизонта, все было затянуто пылью, копотью, дымом, будто на землю всей тяжестью осела грозовая туча, в которую пикировали самолеты – и наши и немецкие. Оттуда шел ровный, напористый гул. Примечательно выглядел сам аэродром. Над ним не спеша, переваливаясь с крыла на крыло, барражировала "рама", не обращая никакого внимания на очереди одинокого пулемета, проходили по шесть и девять штук немецкие бомбардировщики. Но зениток наших не было. Не было и ни одного самолета в воздухе. Зато слева, у края аэродрома, около выключенного шлагбаумами куска дороги, стояло около полутора десятков новейших истребителей.

– Интереснейшие дела! – присвистнул мой попутчик. – Что у них тут, выставка? Действовать так могут только сумасшедшие или предатели.

Справа, в тени берез, шла погрузка имущества на грузовики. Попутчик мой раздраженно спросил, где начальник, и младший лейтенант молча показал на землянку невдалеке. Возле нее на обрубке бревна сидел, подперев щеку рукой, подполковник, осунувшийся, небритый, словно изжеванный. Сначала он даже не заметил нас, не ответил на приветствие, и только когда попутчик мой заговорил, спрашивая о своей части, порывисто, словно спросонья, вскочил:

– А? Лейтенанты... Чем могу служить? Летать умеете?

– Нет.

– А нет – так и катитесь своей дорогой.

– Я авиатехник, – спокойно, хотя глаза его сузились и стали злыми, сказал мой попутчик. – И хотел бы узнать, почему не летаете. Истребители неисправны?

– Исправны, – отходя от раздражения, махнул рукой подполковник. – Исправны. Только летать некому. Вчера так на земле накрыли нас, что... – Он горько покачал головой. – Запросил вот, жду. Гадай, когда летчики придут. Может, с минуты на минуту, а может... А немец прет... И обратите внимание: эти по

аэродрому прямо брюхом ползают, но самолеты не бомбят и не обстреливают. Почему?

– Ясно почему, – кивнул попутчик. – Ясно... Может, по земле их увести? Грузовиками!

– Смотри, умник какой, без тебя не додумались! На чем уводить? Грузовики где?

– Вон с передовой сколько идет.

– Ага, идет, – на четверть километра левее. Мы тут в свое время дорогу отключили, шоферы проложили прямую через поле, и теперь их завернуть сюда никакой силой невозможно. Из пекла вырываются, на поле немецкие самолеты гоняют, смерть в глазах пляшет, вот и прут, ни на что не глядя. Я сам пробовал завернуть, пистолетом грозил – не помогает...

Попросив разрешения, попутчик тоже присел на бревно, смотрел отрешенными глазами, как суется носом в березняки "рама", выискивает, вынюхивает. Под Вереей и Боровском все так же стояла туча дыма и копоти, а с юга натягивало другую, натуральную, с аспидными отсветами.

– А давайте еще раз попробуем, – вдруг сказал он. – У нас сапер есть, – кивнул он на меня.

– Сапер не пограничник. Пограничника бы.

– Сапер лучше. Заминируем ту дорогу и сделаем объезд сюда.

– А мины где?

– Мин и не надо. Покопаем малость, поставим указатели объезда. Конечно, многие шоферы в Финляндии понаторели, проверить могут. Но раз тут сапер, какой разговор...

Подполковник оставался все таким же мрачным, но, как утопающий за соломинку, ухватился за эту идею, поскольку придумать что-либо еще было уже невозможно. Пока младший лейтенант с двумя солдатами тесал колышки и дощечки, мы пошли искать столовую. В дощатом бараке, где она помещалась, между скамейками и столами гулял ветер, все двери и окна настежь. Повар, с лицом, побитым оспой, суетился и покрикивал, заканчивая погрузку своего снаряжения на две подводы.

– Что, закрылись по случаю учета? – подмигнул повару попутчик, не встретив решительно никакого сочувствия. – А мы вот двое суток не ели.

- Ничего нету, – буркнул повар. – И немцы рядом.
- Где?
- Выйдите да поглядите.
- Выходили и глядели. Вместе с бригадой.
- Какой бригадой?
- С танковой. С ней и пришли. Только кухню у нас разбомбило, а мы два дня форсированным маршем шли.
- И много танков?
- Говорю, бригада. Хватит, чтобы фрицам по морде дать.
- Холодной наваги есть малость. Ну, хлеб еще. И селедка.
- С детства обожаю рыбу! – засмеялся попутчик. Миски уже были уложены, забрали продукты в газету и поели на досках возле барака. Затем, погрузив на подводу колышки и дощечки, затесанные в виде стрелок, с надписью "Мины. Объезд влево", вместе с подполковником и младшим лейтенантом отправились к перекрестку, где полевая дорога через ракитные кусты выскакивала на шоссе. Покопали для проформы лопатой, улучив момент, когда машин не было, подполковник с младшим лейтенантом стали вбивать указатели вдоль посадки в направлении аэродрома. Мы остались на месте, с тревогой ожидая, что получится из нашей затеи. Первый же шофер, чумазый, без пилотки, с разъяренными глазами, дал бой.
- Вредительство! Своих на минах подрывать.
- Осторожней на поворотах: не вредительство, а приказ.
- Тут и мин нету... Липа!
- Вон сапер стоит, спроси.
- Все равно не верю.
- Тогда езжай. В раю встретимся!
- И поеду.
- Давай!
- И поеду...
- Тьфу...

Давно известно, что ввязаться в словопрения, когда надо действовать, – значит потерять энергию решимости. С шофером случилось то же самое: сначала он осторожно, на первой скорости

придвигался к свежим бугоркам земли, изображавшим мины, потом притормозил, потом сдал назад и, развернувшись, набирая скорость, покатыл к аэродрому, продолжая ругаться и кричать, что это обман и ничего более, что вот и немцы бьют, и свои ноги ломают. А там уткнулся в шлагбаум и минут десять спустя проехал мимо нас уже по другую сторону посадки, с истребителем на буксире. Следующий шофер был уже покладистее, поскольку видел свежий след, а пятый завернул уже автоматически, не глядя на нас и почти не сбавляя скорости. К тому же начался довольно плотный дождь, немецкой авиации не было, и страсти поулеглись. Через час с небольшим, когда небо уже начинало светлеть, хотя и оставалось дымным, последний истребитель исчез в зелени посадки.

Подполковник, довольный, подобревший, поблагодарил нас:

– Спасибо, ребята, что помогли! Пойдемте к нам в часть, а?

– Грехи не пускают, – засмеялся попутчик. – А вот если бы вы приказали нам по сто граммов выдать, не отказались бы.

– Нету. Честное слово! Могу белого хлеба дать по буханке на брата и колбасы. Нуждаетесь?

– Мы уже продаттестаты наполовину изжевали.

– Ну и лады...

Теперь оставалась только машина с инструментами и продуктами. На ней уезжал начальник склада. Пригласил ехать и нас с тем доводом, что немцы, судя по всему, недалеко и больше искать нам нечего. Но в этот момент подошла еще одна машина с другого конца аэродрома. Начальник склада спросил, почему нет второй.

– Шофера вон ранило, в кузове лежит.

– А машина?

– Так что машина? Стоит.

– Не побило?

– Исправная.

– Почему не поджег?

– Немцы рядом, человека спасти надо было...

– Ну, что делать, – пожал плечами начальник склада. – Поехали. Садитесь, лейтенанты.

– Знаете что? – оживился попутчик. – Мы с вами не поедem, а заберем ту машину. Я вожу.

– Успеете?

– Может, что и успеем. В крайнем случае в лес уйдем.

– Смотрите сами... Там в землянке, между прочим, медицинское имущество и спирт. Учтите!..

Грузовики ушли, мы остались одни. Я, откровенно сказать, побаивался и опасался, что это уже авантюра. Но за сутки, проведенные вместе, я, по-видимому, уже попал под влияние попутчика, настроился на его психологический тонус, да к тому же, видя, как просто выходит он из затруднений, как здраво ко всему относится, проникся к нему доверием. Поэтому я не стал его отговаривать – да и поздно было, - а попытался приглушить беспокойство шуткой:

– Интересно, что сказал бы в этом случае Староиванников?

– Это мы решим потом, сейчас давай поспешать...

До лесного мыса на противоположном краю аэродрома, где находилась машина и медицинская землянка, было около километра или чуть побольше. Ориентиром служила небольшая деревянная вышка на опушке. Мы закурили и двинулись, не догадавшись даже положить продукты в вещмешки: колбасу сунули в карманы, буханки взяли под мышки. Но не прошли мы и двухсот метров, как низко над пустым аэродромом начала кружить "рама". Сделав первый заход, летчик заметил, что истребители, столь картинно торчащие у дороги, исчезли. Сначала он, по-видимому, решил, что их в целях маскировки закатили в березовый лесок, пронесся над ним, едва не задевая колесами за вершины, но, убедившись, что и здесь их нет, пришел в неописуемую ярость. И так как, кроме нас двоих, хорошо заметных на зеленой дернине, никого уже не было, вся эта ярость обрушилась на нас. Заложив крутой вираж, он заходил на покатоe пикирование, со спины, включал на полную мощность пулеметы и рубил, рубил, рубил. Временами казалось, что он просто раздавит нас своим желтым брюхом.

Мы прижимались к земле, плюхались в канавки – следы, продавленные колесами шасси, – холодная, грязная вода текла за воротник, пули, как град, пузырили и брызгали вокруг. Как только самолет оказывался впереди, мы вставали и бежали что есть силы, а потом все начиналось сначала. Это была какая-то странная,

нелепая, выматывающая душу игра со смертью, причем мы были совершенно беспомощны: не из пистолета же было стрелять по самолету, который, как мы знали, имел еще и бронезащиту! Но и летчик, видя, что мы все подвигаемся, невредимые, совсем осатанел и, закладывая сумасшедшие виражи, бил уже не только вслед, но и в лоб, и справа и слева, так что голова шла кругом и трудно становилось следить за ним.

Наконец, измученные, грязные, мы заползли под скирду клевера. Аэродром, собственно, уже кончился, но до ближайшего кустарника оставалось еще метров сто. Пробежать их у меня уже не хватало сил.

– Больше не могу, – сказал я. – Крышка...

– Ничего, – утешил, тяжело дыша, попутчик. – Время еще есть.

– Время – для чего?

– Для... Да для всего!

Однако летчик не хотел отпустить нас так запросто. Со второго или третьего захода он поджег скирду. Я в юности немало повозился со стогами сена и был удивлен, что, обычно волглое, оно так быстро загорелось. Но факт оставался фактом: на макушке скирды заплясали язычки огня, густой, пышный белый дым, сваленный ровным ветром, потек в ложину и закрыл ее. И это оказалось нашим спасением: немец в самолете, исходя из собственной логики, решил, очевидно, что мы попытаемся вырваться к лесу под прикрытием этого дыма, и строчил по ложине, а мы, перебравшись на неветреную сторону скирды и прикрывшись сеном, отдыхали. Наконец "рама" ушла, может быть, расстреляв боезапас. Мы совершили еще один рывок, выскочили на песчаный, редко опушенный низкорослым кустарником бугор, увидели машину и землянку. И услышали совсем недалеко за всхолмленным полем пулеметную и автоматную трескотню, редкую, но совершенно отчетливую.

– Вот теперь надо спешить, – сказал попутчик, хотя движения его ничуть не стали торопливее, словно и сказано это было только для меня. – Лезь в землянку, тащи что можно, а я заведу полуторку...

Признаться, я впервые в жизни попал в такую переделку и, мучаясь стыдом, все же немного праздновал труса. Немцы совсем рядом, а я должен в землянке, ничего не видя, возиться с каким-то барахлом, целая гора которого не стоит все же одной человеческой

жизни! И, размышляя так, не мог предложить попутчику плюнуть на все и удирать, пока еще есть время. Не мог, язык не повернулся бы... Бутылка спирта стояла справа у самого входа, чуть подальше ящик с медикаментами, а на грубом столе из сосновых досок – бокс с инструментами. Я захватил оплетенную, ведра на два, если не больше, бутылку и выволок ее, полагая, что тем можно и кончить. И наткнулся на вопросительный взгляд попутчика.

– Еще есть что-нибудь?

– Есть...

– Так давай... Чего же ты?

Так перекидывали в машину и ящик, и инструменты, и еще какой-то бидон.

– Все?

– Брезент еще валяется... Только он большой и тяжелый, один не вытащу.

– Ничего, давай прихватим... Мотор уже работает, чего тут!

Когда вытащили брезент, сырой и грязный, и прилаживали кусок его под бутылку, чтобы не побилась при тряске, я посмотрел в поле и обмер: метрах в четырехстах поднялась из-за холма и двигалась по раскисшей пашне немецкая пехота. Мокрые, очевидно, измученные за день, сутулясь и медленно загребая ногами, солдаты плелись негустой изломанной цепью. И оттого, что шли они молча и без выстрелов, серо-зеленые, как выходцы с того света, – они появились внезапно, – мне стало по-настоящему страшно. Я указал на них попутчику. Он кивнул мне на кабину, сел за руль:

– Теперь и правда пора!

Через минуту полуторка на полном газу выскочила из кустарника и, разбрызгивая воду в колесах, понеслась к противоположному краю аэродрома, к шоссе. Как видно, наши войска отошли куда-то в лес, и для немцев наше появление было полной неожиданностью, поэтому они не сразу стали стрелять, а когда застучали пулеметы, мы были уже далеко. К тому же начинало смеркаться, в насыщенный водой воздух словно подсыпали пепла. Благополучно вскочили мы в ракитовую посадку, проехали мимо дощатой столовой, которая беззвучно зевала в сумерки открытыми дверями и окнами, миновали стык шоссе с полевой дорогой, где недавно дурили головы шоферам. Еще не все

опасения отошли, – вдруг немцы пересекли дорогу впереди? – но настроение поднималось и поднималось. Теперь я уже не вспоминал, что подозревал попутчика в склонности к авантюризму, а считал, что одержали мы с ним хоть маленькую, но победу.

Когда отъехали километра на полтора, попутчик мой, не глуша мотора, выжал сцепление и остановил машину. И тут я с удивлением заметил, что руки у него дрожали. Неужели и он волновался?

– Надо выпить, – предложил он. – После грязевых ванн и для нервной переналадки.

– У тебя-то нервы стальные.

– Да? Цыпленок тоже хочет жить.

– Выпить-то выпить, а где закуска?

Закуски не было. Хлеб и колбаса остались в колеях на аэродроме: растеряли, пока удирали от "рамы".

– Ладно, – сказал он, – выпьем без ничего. Придется привыкать. Как сказал бы Староиванников, война только начинается.

– Если не считать того, что немцы под Москвой!

– Ну и что? Они-то думают, что для них кончается, а для нас – начинается. Податься назад некуда, а загубить Советскую власть – позор до сотого колена. Больше ей, погибни мы, нигде на свете голову поднять не дадут – и учены, а не то в армиях оружие.

Ополоснув кружки, прибавил:

– У нас под Угличем длинно окают, но крепко говорят!

Налил мне полкружки спирта, разбавил мутноватой водой из кювета и приказал выпить до дна.

– От контузии. И лезь под брезент, спи.

– А ты?

– Мне много нельзя, ехать надо...

Очнулся я около полуночи, но, когда посмотрел вокруг, подумал, что сплю. Вокруг все было бело, крупными хлопьями валил снег. Откуда он взялся? Наша полуторка медленно двигалась через белый лес в плотной колонне грузовиков справа от дороги, а слева шла артиллерия. За стволы орудий, нереально длинные и толстые, побеленные сверху, цеплялись тоже побеленные, со снегом на пилотках и на плечах, смертельно

усталые пехотинцы – так было легче идти. А со стороны казалось, что они тащат орудия на себе. И полное молчание, ни одного слова, только тяжелое, с хрипом дыхание и временами надсадный кашель. Глаза отказывались верить тому, что видели...

Остаток ночи мы провели в какой-то избе. Хозяйка всю ночь топила печь, в больших чугунах кипятила чай и варила картошку для проезжающих. Картошкой в мундире поужинали и мы. В белом мутном поле валил снег и редко ухали бомбы – немецкие летчики бросали их вслепую, "играли на нервах".

Утром мой попутчик все на той же самой полуторке довез меня до вокзала в Подольске. Простились крепким рукопожатием. Он повел машину в авиа часть, которой она принадлежала, а я уехал в Москву и утром на следующий день, завернув по совету попутчика в одно военное учреждение, получил новое назначение – на инженерные курсы в Кострому. Перед отъездом выпало несколько часов свободного времени, и я, не тешась никакими иллюзиями, а из чистого любопытства, заглянул на Киевский вокзал. Сверток с патефоном и часами покрылся легким слоем пыли, но стоял на том же самом месте, где я его оставил.

Не знаю, как сложилась бы моя судьба на войне, но начавшаяся на скамейке вокзала история привела к тому, что я стал капитаном и комбатом. Впрочем, и не это главное. Встреча с лейтенантом, хотя не породила она ни долгой дружбы, ни взаимно доверчивых излияний – для этого и времени не было, – крепко засела в моей памяти; его спокойствие в критических обстоятельствах, здоровая рассудительность и находчивость многому научили и пригодились не раз в тяжелых обстоятельствах, особенно летом сорок второго, во время боев на Дону. И теперь мне часто думается: именно такие люди выигрывают войны и тащат на плечах мир.

Как сказал Староиванников:

– Безногий душой крыльев не придумает...

**Константин
Михайлович
Симонов**

Пехотинцы

Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было и мокро, однако не так уж холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее "напоследки" и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начинает, — сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести. — А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты старший лейтенант Савин, он с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три, и надо опять его настигнуть. Савин обычно говорил про немцев "фрицы", но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник, — говорил он, — должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да лопатку, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.

— Ишь какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.

— Да, — согласился Савельев. — Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще довоевать надо, — сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают, — сказал Савельев.

— Да, — согласился Юдин. — А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может, — возразил Савельев. — Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шлямками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят, — и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев оказался прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого врага. И

хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы по приказанию старшего лейтенанта Савина развернулись редкой цепью.

Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что, пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. И, наверное, перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевого мешок оттягивал Савельеву плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.

Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебегали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный — то

минометный, то пулеметный — огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут начали рыть немцы, а потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии, — ответил Юдин. — Этого, маленького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так чтобы очень, а из строя выбыл.

В это время над их головами прошли снаряды "катюш", и сразу холмы, на которых засели немцы, заволоклись сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.

Савельев с сожалением поглядел на мокрый окоп и сдвинул с шеи ремень автомата. Несколько минут Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего метров двести, а то и меньше, оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.

Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полтора-два, стоят наши легкие пушки и прямо с открытого поля бьют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, лежавший через четыре человека слева от него, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-

пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — мокрую от дождя гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колени. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.

— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего.

Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.

— Вставай! Вставай, ты! Хенде нихт, — сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял его за шиворот одной рукой и поставил в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту, — сказал Егорычев, — а я пойду, — и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия "катюш".

Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга были разметаны в траншее и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

"Наверное, хотел спрыгнуть, да не успел", — подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. "Не поспевают", — с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте, — сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый Савельеву автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток, — сказал Савельев.

— Сержант! — окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика. — Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и Савельев, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. "Может, он с усталости такой ворчливый", — подумал Савельев про Юдина.

Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то, — сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета. — Как их "катюшами" накрыло, видал?

— Видал, — сказал Савельев.

— Как "катюшами" накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить "замечательно-удивительно" скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе "kozyрек", как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин? — обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть, — весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай, — согласился Егорычев.

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой взметнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи пожалуйста! — удивился Егорычев. — Махорку-то не просыпали?

— Нет, не просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать сигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку; он думал, что осталось на две завертки, а теперь выходило, что остается только на одну.

Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали прямо в окоп, в стоявшую на дне воду.

— Наверное, заранее пристрелялись, — сказал Егорычев. — Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом окопе, близко, но за поворотом. Их никого не тронуло. Савельев выглянул за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.

Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Какой час, товарищ старшина? — спросил Савельев.

— А ну, который? — в свою очередь, спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет, — сказал он.

— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.

— Да уж полдень небось, — сказал Юдин.

— Четыре часа, — сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа? — переспросил он.

— Вот тебе и "неужто", — ответил Егорычев. — С минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдин? — удивился Савельев.

— Ничего, — спокойно сказал Юдин. — Ранило меня.

Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

"Пожалуй, перебита", — подумал Савельев.

— Как вышло-то? — спросил он Юдина.

— Там Воробьева ранило, — пояснил Юдин. — Я его перевязывал, и аккуратно ударило. Воробьева убило, а меня... вот видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури на дорожку, — предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую сигарку и протянул

Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял сигарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище, — сказал Юдин и поднялся.

Зажав сигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это... — сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что "это"?

— Ты поправляйся и обратно приходи.

— Да нет, — сказал Юдин. — Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поныри проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

"Привык, наверное, я к нему", — глядя вслед, подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Не успел он это сделать, как танки открыли огонь, — не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большую "дегтяревку". Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И, конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву и самому было неловко, потому что выходило, будто он трусил, а про себя он знал, что на самом деле не трусил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное — сиди и жди, — сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил. — Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шел слева, другой — прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был "тигр", — а тот, который шел на Савельева, — обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев.

Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрехотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.

Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со

всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и прыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство; хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк. — Горит! крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, вперед ли они идут или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шепотом Андреев. — Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк, — сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился его словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом.

— Ну что же, представим, — сказал Матвеев. — Молодец! — и пожал руку Савельеву. — Как же вы его подбили?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу, — сказал Савельев.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается, — сказал старший лейтенант.

— А я принес, — сказал капитан Матвеев. — Я вам четыре медали в роту принес. Прикажите, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант и старшина.

Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде "смирно".

— Красноармеец Савельев, — обратился к нему капитан Матвеев, — от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль "За отвагу".

— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну вот, — сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными. — Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.

— Слушай, старшина, — сказал Савельев, когда все остальные ушли.

— Да?

— Привинти-ка.

Егорычев достал из кармана перочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется, — сказал Савельев.

Егорычев полез в карман, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею, — сказал Егорычев. — На крайний случай берег.

Они свернули по сигарке и закурили.

— Что же это, затихло? — сказал Савельев.

— Затихло, — согласился Егорычев. — А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели, — я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем.

И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него — наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру **"120"**. "Сто двадцать, сто двадцать", — подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли вперед, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков была цифра **"120"**. Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что ж, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно! — сердито сказал Юдин. — Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в ту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что вот они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.

"Такое дело — война, — подумал Савельев, — нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощения просить поздно".

В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к **24.00** сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подававшуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завывала другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото то слева, то справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.

Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришло в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз сегодня кончался восьмисотый день войны.

Свеча

История, которую я хочу рассказать, произошла девятнадцатого октября сорок четвертого года.

К этому времени Белград был уже взят, в руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу.

На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через маленький полукруглый скверик, в котором стояло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева, торчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста.

Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем и наконец, когда немножко затихло, двое легкораненых уползли назад, таща на себе двух тяжелораненых. Пятый — мертвый — остался лежать в сквере.

Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулев и что он погиб девятнадцатого числа утром в Белграде, на берегу реки Савы.

Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице.

Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят.

А немцы все стреляли — и днем, и на закате, и в сумерках.

Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали каменные развалины дома, по которым даже трудно было определить, что из себя представлял этот дом раньше. Его настолько сровняло с землей в первые же дни, что никому бы не пришло в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить.

А между тем под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся

после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбило второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбило первый этаж, она перешла в подвал.

Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная, свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался только один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Она окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил. И она поняла, что он убит.

Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову, в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево.

Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Старуха долго думала, потом, порывшись в своем единственном узле, вытащила оттуда что-то, спрятала под черный вдовый платок и неторопливо вылезла из подвала.

Она не умела ни ползать, ни перебегать, она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ее встретился кусок решетки, оставшейся целой, она не стала перелезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер.

Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи.

Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю.

Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали далеко от нее.

Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два и молчала.

Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, В которые рвались мины.

Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре она нашла то, что искала: это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая наполняться водой.

Опустившись в воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к русскому. Она взяла его под мышки и потащила.

Тащить нужно было всего десять шагов, но она была стара и три раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила его до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала.

А немцы все стреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от нее.

Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб.

Потом она стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его так, что из-под земли ничего не было видно. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и, снова отдохнув, начала подгребать землю. Через несколько часов она горстями насыпала над мертвым маленький холмик.

Уже вечерело. А немцы все стреляли.

Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовый платок и достала большую восковую свечу, одну из двух венчальных свечей, сорок пять лет хранившихся у нее со дня свадьбы.

Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на коленях.

Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, а один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу.

Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал свечу, если начнет ветер. Сделав это, старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал.

Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост.

Через час или два совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу.

Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром.

Тело Чекулева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек.

— Смотрите, — сказал красноармеец.

И все посмотрели туда, куда он показывал.

Около разбитой ограды сквера высился маленький холмик. В головах его был воткнут полукруг горелого железа. Прикрытая им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая.

Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догорающую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить.

Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле, и, подняв огарок, зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех к ней, помог ей подняться.

Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.

Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой,— догонять свою роту.

А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.

И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.

1944

**Генрих
Теодор
Бёлль**

Путник, когда ты придешь в Спа...

(1950)

Машина остановилась, мотор продолжал работать, пока распахивались большие ворота. Свет проник в машину сквозь разбитое окно, и теперь я увидел, что разбита и лампочка под потолком. Цоколь остался в патроне, откуда торчали два блестящих проводка и осколки стекла. Потом мотор смолк, и откуда-то снаружи крикнули:

— Мертвых сюда. У вас есть трупы?

— Черт бы вас побрал, — ответил водитель, — вы что, забыли о затемнении?

— Какой от него прок, если весь город полыхает, как факел? — крикнул кто-то незнакомый. — Трупы есть, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Трупы сюда, понял? Других наверх по лестнице, в рисовальный класс, понял?

— Да, да.

Но я еще не умер, я принадлежал не к трупам, а к другим, и меня понесли в рисовальный класс. Сначала мы проследовали по длинному, скудно освещенному коридору, стены которого были выкрашены зеленой масляной краской. В них были вделаны кривые старомодные крючки для верхней одежды. В конце коридора виднелись две две-

ри с эмалированными табличками: «VIa» и «VIb», а между дверями, под тускло блестящим стеклом, в черной рамке висела «Медea» Фейербаха и задумчиво смотрела вдаль. Потом мы прошли мимо дверей с надписями «Va» и «Vb». Между ними расположилось изображение скульптуры «Юноша, вытаскивающий шип», чудесная фотография в красноватых тонах, помещенная в коричневую рамку.

В середине площадки, перед входом на лестницу, стояли две высокие колонны, вершины которых соединяла превосходная гипсовая копия фриза Парфенона, отсвечивающая мягкой желтизной и дышавшая античной подлинностью. Все было изображено как должно. Греческий гоппит, живописный и опасный, в своих перьях он выглядел как боевой петух, а на лестничной площадке, на стене, выкрашенной здесь уже в желтый цвет, висели портреты всех властителей — от великого курфюрста до Гитлера...

И там, в узком маленьком проходе, по которому меня пронесли на носилках, там красовалась невероятно эффектная, невероятно огромная, невероятно красочная картина — на ней был изображен Старый Фриц в небесно-голубом мундире, с горящими глазами и сверкающей звездой на груди.

Я криво лежал на носилках, на которых меня пронесли мимо изображений расовых типов: был там нордический капитан с орлиным взглядом и тяжелой челюстью, жительница западного Мозеля, худая и угловатая, восточный тип с мерзкой ух-

мылкой, носом луковкой и продолговатым профилем с выпирающим кадыком, как из фильма о горцах; потом мы опять вышли в коридор, меня снова уложили на носилках прямо, и, прежде чем санитары повернули на вторую лестницу, я отчетливо разглядел еще кое-что: памятник воинам с большим позолоченным железным крестом наверху и с каменным лавровым венком.

Все происходило очень быстро: я не тяжелый, а санитары спешили. Впрочем, я мог и заблуждаться; я горел в лихорадке, у меня болело все — голова, руки и ноги, сердце колотилось как бешеное; в такой лихорадке всего не увидишь.

Но когда мы прошли мимо изображений различных типов рас, все вдруг разительно переменялось: у стены, пожелтевшие и подлинные, во всем своем античном блеске стояли превосходные копии бюстов Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия. Показалась и колонна Гермеса. Мы завернули за угол и оказались в коридоре — стены коридора были выкрашены в темно-розовый цвет, — и вот там, в самом его конце, над входом в рисовальный класс, висело изображение искаженного гримасой лица Зевса, но до Зевса было пока далеко. Справа в окне я увидел зарево пожара, небо было красным, а над горизонтом с мрачным торжеством поднимались густые облака черного дыма...

Я снова посмотрел влево; на этот раз я увидел таблички «O Ia» и «O Ib», а между этими тускло-коричневыми дверями я заметил усы Ницше и кончик его носа в золоченой раме. Дело в том, что вторую половину портрета залепили листом бумаги,

на котором можно было прочесть: «Малая операционная».

Если теперь, вдруг подумалось мне... если теперь... но да, вот она, картина про Того: пестрая и огромная, плоская, как старинная гравюра, изумительно отпечатанная. На переднем плане, перед колониальными домами, перед неграми и солдатом, который непонятно зачем стоял здесь с ружьем, были с потрясающей достоверностью выписаны связки бананов: связка слева и связка справа; на среднем банане правой связки было что-то нацарапано, я это уже видел, должно быть, это я и написал...

Но вот дверь в рисовальный класс отворилась, меня пронесли под бюстом Зевса, и я закрыл глаза. Мне больше не хотелось ни на что смотреть. Здесь пахло йодом, калом, марлей, табаком и было очень шумно. Меня сняли с носилок, и я попросил санитаря:

— Сунь мне в рот сигарету, пачка в правом верхнем кармане.

Я почувствовал, как кто-то шарит у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и горящая сигарета оказалась у меня во рту. Я затанулся.

— Спасибо, — сказал я. Все это, подумалось мне, еще не доказательство. В конце концов, в каждой гимназии есть рисовальный класс, коридоры, в стены которых, окрашенные в зеленый и желтый цвет, вделаны крючки для одежды. В конце концов, нет доказательств того, что я нахожусь в моей школе, только потому что «Медея» висит между кабинетами VIa и VIb, а усы Ницше между OIa

и OIb. Понятно, что должно быть предписание, согласно которому они должны висеть именно там. Рекомендация для прусских гуманитарных гимназий: «Медея» между VIa и VIb, «Юноша, вытаскивающий шип» — там, Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон — в коридоре, а Ницше наверху, там, где изучают философию. Теперь, фриз Парфенона, яркая картина о Того. «Юноша, вытаскивающий шип» и фриз Парфенона — это, в конечном счете, старинные, давние, сохраняющиеся десятилетиями школьные реквизиты, и, понятно, что я не единственный, кому могла вдруг прийти в голову мысль написать на банане «Да здравствует Того!». Школьные шутки тоже всегда одинаковы. И, возможно, все это мне просто привиделось в лихорадке.

Боли я уже не ощущал. В машине мне было еще очень плохо; когда она попадала в выбоины, я всякий раз вскрикивал; но когда мы проезжали через широкие воронки, мне было лучше: машина опускалась и поднималась, как корабль на волнах. Однако теперь, наверное, уже подействовал укол, который мне сделали в руку в темноте: я чувствовал, как игла пробуравила кожу, и меня пробрал жар до самых кончиков пальцев ног.

Такого просто не могло быть, думалось мне, так много, почти тридцать, километров машина не могла проехать. Да, и кроме того: ты же ничего не чувствуешь; ни одно чувство не может тебе это подсказать, только глаза. Ни одно чувство не убедит тебя, что ты находишься в своей школе, из которой вышел всего три месяца назад. Восемь лет — не

какая-то малость, но смог бы ты спустя восемь лет узнавать это место одними только глазами?

С закрытыми глазами я еще раз просмотрел эти картины, словно прокрутил фильм: нижний этаж, зеленого цвета, лестница наверх, желтого цвета, памятник воинам, коридор, лестница наверх, Цезарь, Цицерон, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, юноша, вытаскивающий шип, смеющийся Зевс...

Я выплюнул сигарету и закричал. Мне всегда нравилось кричать, надо только делать это громко. Кричать — это великолепно, и я орала как сумасшедший. Я не открыл глаза и когда надо мной кто-то склонился. Я ощутил чужое дыхание, горячее и отвратительно пахнувшее табаком и луком. Кто-то спокойно спросил:

— Что случилось?

— Дайте попить, — сказал я, — и сигарету, пачка в верхнем кармане.

Снова кто-то пошарил в моем кармане, снова чиркнула спичка, и мне в рот воткнули зажженную сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо, — произнес я и затянулся.

Все же и правда оказалось, что я в Бендорфе, то есть дома, и, если у меня не слишком высокая температура, то можно утверждать, что я нахожусь в гуманитарной гимназии. Во всяком случае, это точно школа. Ведь человек там, внизу, когда мы подъехали, кричал: «Других в рисовальный класс!». Я был другой, я был жив, живые были, очевидно,

другими. И вот он, рисовальный класс, и, если я все правильно расслышал, то почему, собственно, я не мог правильно увидеть; тогда я действительно все узнал — Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, и это могла быть только гуманитарная гимназия. Я не верил, что в какой-нибудь другой школе этих ребят точно так же расставили бы вдоль стены.

Наконец, тот же человек принес мне воды: я снова вдохнул запах табака и лука, исходивший от него; сам того не желая, я открыл глаза и увидел над собой усталое, старое, небритое лицо человека, одетого в форму пожарного, и услышал его тихий, надтреснутый голос:

— Пей, камрад!

Я принялся пить. Это была всего лишь вода, но ведь вода великолепна. Я ощущал на губах металлический привкус котелка, и еще приятнее было ощущать, что в нем еще много, много воды, но пожарный отнял котелок от моих губ и отошел; я закричал, но он не обернулся, только устало пожал плечами и отправился дальше. Тот, кто лежал рядом со мной, спокойно произнес:

— Не ори зря, у них больше нет воды. Город горит, ты же сам видишь.

Конечно, я это видел через щели в маскировочных шторах, за ними пылало и ревело, красное за черным, как в печке, куда подкинули уголька. Я видел: да, город горел.

— Как называется этот город? — спросил я того, кто лежал рядом со мной.

— Бендорф, — ответил он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на длинный ряд окон, а иногда переводил взгляд и на потолок. Потолок был безупречен — белый, гладкий, без единого пятнышка, с узким обрамляющим карнизом в стиле классицизма. Но такие карнизы на потолке есть в рисовальных классах всех школ, ну, по крайней мере, в старых добрых гуманитарных гимназиях. Это ясно как божий день.

Однако мне пришлось признать, что я все же находился в рисовальном классе Бендорфской гуманитарной гимназии. В Бендорфе три гуманитарные гимназии: Фридриха Великого, Альберта и — наверное, ее не стоит упоминать всуе, но все же, все же — последней была гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве не висел бы яркий, особенно красивый портрет Старого Фрица на лестничной площадке именно гимназии Фридриха Великого? Я учился в этом заведении целых восемь лет, но почему в какой-нибудь другой гимназии не мог висеть тот же портрет на том же месте, так же обращая на себя внимание любого, кто поднимался по первой лестнице?

До меня доносились звуки залпов орудий тяжелой артиллерии. Если бы не она, то было бы совсем тихо, только время от времени я улавливал долетавший с улицы рев всепожирающего пламени, да в темноте местами рушились островерхие крыши. Артиллерия палила уверенно, спокойно и с правильными промежутками, и я подумал: «Какие молодцы эти артиллеристы!» Знаю, что это ужасно и подло, но я так думал. Боже мой, как успокоительно действовали эти выстрелы, какими уютны-

ми они были: звуки их были глухими и грубоватыми, но одновременно мягкими и почти нежными, как звуки старинного органа. Слушать огонь артиллерии было даже приятно. Я нахожу, что в артиллерии есть что-то притягательное, даже когда она стреляет. Все выглядит так прилично и благородно, прямо как картинки военных действий в иллюстрированных книжках... Я вдруг подумал о том, сколько новых имен появится на памятнике воинам, когда его заново откроют и освятят, на нем установят новый, еще большего размера позолоченный железный крест и украсят еще более крупным каменным лавровым венком. До меня вдруг дошло и еще кое-что: если я действительно учился в этой школе, то на памятнике появится и мое имя, оно будет высечено в камне, а в школьном календаре рядом с моим именем будет значиться: «Ушел на войну из школы и пал за...»

Правда, я пока не знал, за что, да и не знал еще доподлинно, была ли это моя старая школа. Теперь мне надо было во что бы то ни стало это выяснить, докопаться до истины. В памятнике воинам, надо сказать, не было ничего особенного, ничего выдающегося, это был обычный декоративный памятник, такие вообще, наверное, получают из какого-то одного центра...

Я принялся осматривать рисовальный класс, но картины со стен были сняты, и что тут есть такого, кроме обычных, составленных штабелем в углу парт и высоких узких окон, расположенных близко друг от друга, чтобы пропускать больше света, что доказывало бы, что это именно мой рисовальный

класс? Сердце ничего мне не подсказывало. Разве оно смогло бы молчать, если я на самом деле находился сейчас в помещении, где провел восемь долгих лет, рисуя вазы и совершенствуясь в каллиграфии, изображая тонкие, изящные, чудесные копии римских стеклянных ваз, которые учитель рисования в начале урока ставил на одну из высоких подставок, и выписывая самые разнообразные шрифты — закругленный, антикву, романский, итальянский. Я ненавидел эти уроки больше всего в этой школе, меня снедала скука, эта пытка продолжалась часами, но я так и не научился рисовать вазы и выписывать шрифты. Но где теперь мои проклятья, моя ненависть, когда я оказался в этих безликих скучных стенах? Душа моя молчала, и я только безмолвно качал головой.

Я без конца стирал ластиком свои рисунки, оттачивал карандаш, стирал... стирал и еще раз стирал... у меня ничего не выходило...

Я не имел ни малейшего понятия, как именно меня ранило. Я понимал только, что не могу шевелить руками и правой ногой. Чуть-чуть я мог шевелить только левой. Мне казалось, что обе руки накрепко прибинтованы к телу, так крепко, что я не мог ими двигать.

Выплюнув вторую сигарету в проход между соломенными лежаками, я попытался пошевелить руками, но испытал при этом такую боль, что громко застонал. Я просто начал кричать; как же это было здорово — кричать не переставая. Я был в бешенстве не только от боли, но еще и от того, что не могу пошевелить руками.

Потом передо мной вдруг появился врач. Сняв очки и часто моргая, он молча смотрел на меня. За его спиной стоял пожарный, который дал мне воды. Он что-то прошептал на ухо врачу, и тот надел очки. Я отчетливо видел его большие серые глаза с подрагивавшими зрачками за толстыми стеклами. Он долго смотрел на меня, так долго, что я, не выдержав, отвел взгляд, а потом он тихо сказал:

— Потерпи чуть-чуть, ты почти первый в очереди...

Потом они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли его за классную доску. Я следил за ними: они подвинули доску и поставили ее поперек класса, а проход между стеной и доской занавесили простыней — за ней горел яркий свет...

Я ничего не слышал до того момента, когда простыню откинули в сторону и в проход вынесли того, кто лежал рядом со мной. Санитары с усталыми, равнодушными лицами потащили его к двери.

Я снова закрыл глаза и думал: «Ты должен выкарабкаться: неважно, какая у тебя рана, и плевать, находишься ли ты в своей старой школе».

Все это я воспринимал холодно и равнодушно, так, будто меня несут по залам музея мертвого города, в мире, который был мне абсолютно безразличен и чужд, хотя глаза мои его узнавали, только глаза. Это могло оказаться и неправдой, что я сидел здесь всего три месяца назад, рисовал вазы и постигал каллиграфию, что на переменах я спускался вниз с намазанным джемом хлебом мимо

Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, медленно, до самого нижнего коридора, где висела «Медя», а оттуда к дворнику Биргелеру, чтобы попить молока в его темной маленькой каморке, где можно было рискнуть и покурить, хотя это было запрещено. Наверняка того, кто лежал рядом со мной, отнесли вниз, к мертвецам, которых, возможно, складывали в серой крошечной каморке Биргелера, где пахло теплым молоком, пылью и биргелеровским плохим табаком...

Наконец ко мне подошли вернувшиеся санитары. На этот раз меня положили на носилки и понесли за доску. Я снова воспарил и проплыл на этот раз мимо двери, и в тот момент я понял, что и это сходится: над дверью когда-то висел крест, это было в те времена, когда школа носила имя святого Фомы. Потом наступили другие времена и крест сняли, но осталось свежее темно-желтое пятно в форме креста, неистребимое и отчетливое, оно больше бросалось в глаза, чем тот старый, небольшой и хлипкий крест, который убрали. На блеклой стене остался чистый и прекрасный знак креста. Тогда, со злости, заново покрасили всю стену, но это несколько не помогло; маляр плохо подобрал тон краски. Крест остался на месте, коричневатый и четкий — на фоне розовой стены. Ругани по этому поводу было много, а толку мало: крест все-таки остался, и, как мне кажется, они не смогли ничего сделать, просто потому что у них больше не было денег на краску. Крест по-прежнему был на месте, а если присмотреться, то можно было заметить еще

и кривой след над правой переключателем, где многие годы висела буквенная ветка, которую прикрепил туда старенький дворник Биргелер, когда еще было решено развешивать кресты в школах...

Все это мелькнуло у меня в голове за короткий миг, пока меня несли мимо двери за доску, где горел яркий свет.

Меня положили на операционный стол, и я вдруг увидел себя целиком и очень отчетливо, хотя и в уменьшенном виде, в зеркальном стекле хирургической настольной лампы, крошечного и белого, узкого марлевого свертка, похожего на хрупкого, нежного эмбриона: таким образом, я был и там, наверху.

Врач повернулся спиной ко мне, подошел к столу и принялся перебирать инструменты, широкоплечий и старенький пожарный стоял у доски и улыбался мне. Он улыбался устало и печально, его бородатое, грязное лицо казалось спящим; над его плечом, на грязной поверхности классной доски я увидел то, что впервые с того момента, когда я попал в этот мертвый дом, заставило заговорить мое сердце: в сокровенном, тайном его закоулке возник страх, я был напуган до глубины души, и сердце мое забилося сильнее: на доске я увидел и узнал мой собственный почерк. Сверху, в самой верхней строчке. Уже я-то хорошо знаю свой почерк; он выглядит еще хуже, если смотреть на его отражение в зеркале, но зато и более четко, и у меня не было ни малейшего повода сомневаться в том, что это именно мой почерк. Все остальное не было доказа-

тельством, ни «Медая», ни Ницше, и ни словно сошедший с арабского динара профиль гордого горца, ни бананы из Того, и уж ни разу не крест над дверью; все это было одинаковым во всех школах, но я не верю, что в других школах писали на досках моим почерком. Она все еще красовалась на доске — эта фраза, которую мы должны были написать тогда, в той полной разочарований жизни, от которой меня отделяли какие-то три месяца: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

О да, я же знаю, я помню, что доска оказалась слишком короткой, и учитель рисования отругал меня за то, что я не смог правильно распределить фразу и выбрать размер шрифта, и он сам, возмущенно качая головой, написал ту же фразу под моей строчкой: «Путник, когда ты придешь в Спа...».

Эта фраза была написана семь раз: моим почерком, антиквой, готикой, курсивом, романским шрифтом, итальянским и рондо. Семь раз, отчетливо и беспощадно: «Путник, когда ты придешь в Спа...».

Врач что-то тихо сказал пожарному и отошел от меня в сторону, тогда я увидел всю фразу, но только немного укороченную, потому что я выбрал слишком крупное письмо и мне не хватило места.

Я подскочил вверх и выгнулся дугой, ощутив укол в левое бедро, мне захотелось приподняться, но я не смог. Взглянул на свое отражение наверху и все понял: они меня распяли, теперь у меня не было рук, как не было и правой ноги, я без сил повалился на спину и начал кричать. Врач и пожар-

ный испуганно посмотрели на меня, но потом врач только пожал плечами и продолжил как ни в чем не бывало давить на поршень шприца, опускавшийся все ниже и ниже. Мне захотелось еще раз взглянуть на доску, но пожарный теперь стоял совсем рядом со мной и загораживал ее. Воняло прогорклой, грязной, засаленной формой. Я видел только его усталое печальное лицо, и тут я узнал его: это был Биргелер.

— Молоко... — тихо и умиротворенно прошептал я...

Свидание в аллее

(1948)

Порой, когда действительно становилось тихо, когда умолкало хриплое урчание пулеметов и стихали жутко хрупкие хлопки минометных выстрелов, когда над линиями окопов витало нечто безымянное для нас, но что наши отцы, наверное, называли бы миром, тогда мы прекращали давить вшей или прерывали наш чуткий сон, а лейтенант Хеккер ощупывал своими длинными пальцами замок стоявшего у стены землянки заветного зарядного ящика, который мы называли нашим баром; лейтенант тянул за ремешок, язычок пряжки выскакивал из отверстия, и глазам являлось все великолепие нашего богатства: слева стояли бутылки лейтенанта, справа — мои, а в середине красовалось наше общее, особо ценное достояние, которое мы берегли для таких моментов, когда становилось по-настоящему тихо...

Среди бутылок мутноватого картофельного шнапса стояли две бутылки настоящего французского коньяка, самого лучшего из всех, что нам доводилось пить. Совершенно таинственным образом, с использованием тысяч возможностей, безумной траты денег и махинаций, сквозь джунгли коррупции в нашу дыру через известные промежут-

ки времени попадал настоящий «Хеннеси», в эту самую дыру, где нам приходилось сражаться с грязью, вшами и безнадежностью. Молодым ребятам, которых бросало в дрожь от любого алкоголя, и бледным мальчишкам, которые постоянно испытывали неудержимую тягу к сладостям, мы возмещали их неучастие в распитии драгоценной желтоватой жидкости шоколадом и конфетами, и, должен вам сказать, мало существует на свете торговых сделок, которые делали бы столь счастливыми обе стороны.

— Ну, — провозглашал Хеккер, пристегнув свежий подворотничок и погладив рукой гладко выбритый подбородок. Я не спеша выходил из своего темного угла землянки, томно стряхивал с формы ошметки соломы и ограничивался единственной церемонией, на какую мне хватало сил, — я причесывался и долго, с какой-то извращенной сосредоточенностью и фанатизмом мыл руки в жидкости для бритья Хеккера — растворе остатков кофе, налитом в жестяную банку. Хеккер терпеливо ждал, пока я чистил ногти, и в это время устанавливал в центре землянки зарядный ящик, устраивая импровизированный стол, и вытирал носовым платком два бокала — солидные и толстостенные, — их мы берегли, как табак. Когда он доставал откуда-то из потайного кармана большую пачку сигарет, я тоже завершал свои приготовления.

Чаще всего такое затишье выдавалось днем, и мы сдвигали в сторону занавеску перед входом в нашу нору, и иногда скромное солнце грело нам ноги...

Мы смотрели друг другу в глаза, чокались, пили и курили. В нашем молчании было нечто невообразимо торжественное. Единственным враждебным звуком становился снайперский выстрел, который с невероятной пунктуальностью раздавался через известные промежутки времени; пуля била в скат траншеи, точно перед брусом, поддерживавшим ее стенку у входа в землянку. С тихим, почти ласковым «хлоп» пуля, шелестя, зарывалась в пористую сухую землю. Этот звук часто напоминал мне почти беззвучный шорох, с каким полевая мышь в спокойный тихий день перебегает тропинку. Этот звук оказывал какое-то успокаивающее действие, ибо он подтверждал, что драгоценный час, который нам выпал, был не сном, не плодом воображения, но подлинной частью нашей реальной жизни.

Разговаривать мы начинали только после четвертого или пятого бокала. Под влиянием этого чудесного напитка в усталых обломках наших сердец пробуждалось что-то по-настоящему ценное, то, что наши отцы имели обыкновение называть душевными устремлениями.

О войне, ставшей уже привычной, мы не говорили ни слова. Слишком часто и слишком близко видели мы ее оскаленную морду, ощущали ее жуткое дыхание, когда ночами слышали на нейтральной полосе между линиями окопов стоны и крики раненых на двух совершенно не похожих языках — все это слишком часто заставляло содрогаться наши сердца. Мы слишком сильно ее ненавидели, чтобы продолжать верить в мыльные пузыри фраз, способных воодушевлять лишь сброд по обе сторо-

ны, воображавший, будто он выполняет великую «миссию».

Будущее тоже не могло быть предметом наших разговоров. Будущее представлялось темным туннелем с множеством острых выступов, на которые нам предстояло наткаться; мы страшились будущего, ибо ужасная правда нашего существования — будучи солдатами, мы желали проиграть войну — опустошала наши сердца.

Мы говорили о прошлом; о тех жалких намеках на то, что наши отцы, вероятно, назвали бы жизнью. О том до ужаса тесном промежутке в человеческих воспоминаниях, который словно был зажат между разлагавшимся трупом республики и невероятно раздутым чудовищем государства, чьи податки нам теперь приходилось отрабатывать.

— Представь себе маленькое кафе, — говорил Хеккер, — может, даже под деревьями, осенью. Стоит запах сырости и гниения, а ты переводишь стихотворение Верлена; на ногах у тебя легчайшие туфли, а позднее, когда плотным туманом спускаются сумерки, ты, шаркая, идешь домой; шаркая — понимаешь? Ты сознательно волочишь ноги по сырой опавшей листве и смотришь на лица идущих навстречу девушек...

Он наполнил стаканы до краев и неторопливо, как заботливый хирург, оперирующий ребенка, чокнулся со мной, и мы выпили...

— Случается, что одна из них тебе улыбнется, ты улыбнешься в ответ, и вы пойдете дальше, каждый своим путем, даже не обернувшись. О эта мимолетная улыбка, обманувшая вас, она не умрет

никогда, никогда, говорю я тебе... она станет опознавательным знаком, если вы увидите в какой-то другой жизни... эта смешная мимолетная улыбка...

В глазах его светилось что-то чудесно юношеское, он, смеясь, посмотрел на меня, я улыбнулся, схватил бутылку и налил еще. Потом мы выпивали три-четыре стакана один за другим, и никакой табак не казался нам вкуснее, чем тот, дым которого смешивался с божественным ароматом коньяка.

Между тем выстрел снайпера напомнил нам о беспощадном течении времени; на фоне нашей радости и наслаждения моментом снова угрожающе замаячила неумолимость нашей жизни, которая могла быть в любой миг разорвана разрывом снаряда, криком поднимающего тревогу часового, приказом об атаке или отступлении. Мы начинали пить торопливо, обмениваться случайными словами, безмятежная радость смешивалась в наших глазах с похотью и ненавистью; когда же неизбежно показывалось дно бутылки, взгляд Хеккера становился невыразимо печальным, глаза его обращались на меня, как два размытых круга, и он начинал тихо и почти неразборчиво шептать:

— Знаешь, та девушка жила в самом конце одной аллеи, и, когда я в последний раз был в отпуске...

Для меня это был знак, что пора заканчивать посиделки.

— Лейтенант, — холодно и резко произносил я, — замолчи, слышишь?

Он сам не раз мне говорил:

— Если я начинаю говорить о девушке, живущей в конце аллеи, то ты должен мне сказать, что-

бы я заткнулся, понимаешь, ты должен, должен это сказать!

И я выполнял этот приказ, хотя мне это было тяжело, поскольку Хеккер словно потухал, когда я напоминал ему о приказе; глаза его становились суровыми и трезвыми, а в углах рта обозначались горькие старческие морщины...

Однако в тот день, о котором я хочу рассказать, все вышло не так, как всегда. Мы как раз получили новое белье, совершенно новое белье и новый коньяк; я побрился и даже вымыл ноги в большой жестянке; то есть я, можно сказать, принял ванну. Да, еще нам прислали новые носки, носки, на которых белые полосы были по-настоящему белыми...

Хеккер лежал на топчане, курил и смотрел, как я моюсь. Снаружи было абсолютно тихо, но то была зловещая, парализующая тишина, угрожающая тишина, и я видел это по рукам Хеккера, когда он нервно прикуривал следующую сигарету от предыдущей, я видел, что он сильно взвинчен и что он испытывал страх, ибо его испытывали и мы — все, в ком оставалось хоть что-то человеческое, испытывали страх.

Внезапно мы услышали тихий шорох, с которым пуля снайперского выстрела впиалась в стенку траншеи, и этот негромкий звук сделал тишину еще более устрашающей; мы одновременно рассмеялись; Хеккер вскочил с топчана, потопал и задорно, по-ребячески крикнул:

— Ура, ура, теперь нам надо выпить, выпить за здоровье камрада, который все время стреляет по этому месту и всегда промахивается!

Он раскрыл замок, хлопнул меня по плечу и принялся терпеливо наблюдать, как я натягиваю сапоги и готовлюсь к выпивке. Хеккер расстелил на зарядном ящике новый носовой платок и торжественно вытащил из нагрудного кармана две длинные светло-коричневые сигары.

— Это настоящая роскошь, — смеясь, воскликнул он, — коньяк и хорошая сигара.

Мы чокнулись, выпили и закурили, наслаждаясь неспешными длинными затяжками.

— Расскажи мне что-нибудь, — воскликнул Хеккер, — ты должен мне что-нибудь рассказать; давай. — Он серьезно посмотрел на меня. — Слушай, ты же никогда мне ничего не рассказывал, постоянно заставляешь меня отдуваться за двоих.

— Мне почти нечего рассказать, — тихо обронил я, посмотрел ему в глаза, налил, и мы выпили; было чудесно ощущать, как прохладная, но превосходно согревающая жидкость темно-желтой струей вливалась в нутро. — Ты знаешь, — нерешительно начал я, — я моложе тебя и в то же время взрослее. Я учился в школе, а потом пошел в ученики; я должен был стать столяром. Сначала было трудно, но потом, примерно через год, я стал получать радость от работы. Это было чудо — работать с деревом. Рисуешь эскиз на красивой бумаге, подбираешь древесину, чистую, с тонкой текстурой, старательно ее стругаешь, ощущая восхитительный запах свежей стружки. Мне кажется, из меня получился бы хороший столяр, но, когда мне стукнуло девятнадцать, меня призвали в армию, и вот тогда у меня впервые возник страх, он возник, когда я вошел в во-

рота казармы, и я так и не смог его преодолеть — за все шесть лет, вот почему я и не говорю много... у тебя с этим как-то по-другому...

Я покраснел, потому что никогда в жизни мне не приходилось настолько долго говорить.

Хеккер задумчиво посмотрел на меня.

— Так, — сказал он, — мне кажется, это отличная профессия — столяр. У тебя никогда не было девчонки? — Он вдруг заговорил громче, и я уже чувствовал, что скоро мне придется положить конец нашему празднику. — Никогда? Никогда? Ты никогда не клал голову на мягкое плечо и не вдыхал запах ее волос... никогда?

На этот раз налил он, и бутылка после этих двух последних глотков опустела. Хеккер, страшно опечалившись, огляделся.

— И нет даже стены, о которую можно расколоть этот пузырь, а?.. Ну ничего, — вдруг заорал он и расхохотался, — должен же этот камрад хоть что-то сделать, так пусть хоть расколошматит эту бутылку.

Он сделал несколько шагов и поставил бутылку на то место, куда били выстрелы снайпера, и, прежде чем я успел ему помешать, достал из нашего бара следующую бутылку, открыл и наполнил стопки. Мы чокнулись, и в тот же миг от входа в землянку донеслось мягкое «понг!». Мы испуганно посмотрели вверх и увидели, что бутылка, прочно простояв на своем месте немислимо краткое мгновение, лишилась своей верхней части, а нижняя осталась на месте. Большой осколок, крутясь, влетел в яму и упал почти у наших ног, и я помню

только, что испытал сильный страх, причем именно в то мгновение, когда бутылка раскололась на части...

Теперь же мной овладело глубокое безразличие, и я так же споро, как Хеккер, наливал, помогая ему прикончить и вторую бутылку. Да, это был страх и безразличие одновременно. Страшно было и Хеккеру, я отчетливо это видел; мы мучительно старались не смотреть друг другу в глаза, и в тот день я не нашел в себе силы перебить его, когда он снова завел разговор о девушке...

— Ты знаешь, — торопливо заговорил он, глядя мимо меня, — она жила в самом конце аллеи, и когда я последний раз был в отпуске, стояла осень, настоящая осень, вечерело, и не могу тебе описать, как красива была та аллея. — В его глазах появилось выражение дикого, удивительного, но в то же время безумного счастья, и только из-за одного этого счастья, которое он, казалось, переживал вновь, я был рад, что не прервал его; продолжая рассказ, он заламывал руки, как человек, который хочет что-то выразить, но не знает, каким образом это сделать, и я почти физически чувствовал, как мучительно он подбирал слова, чтобы описать мне аллею.

Я налил, мы наскоро выпили, я налил снова, и мы еще раз опрокинули по бокалу.

— Аллея, — заговорил он хрипло и почти заикаясь, — аллея казалась золотой, это не болтовня, дружище, она была просто золотой, черные деревья, украшенные золотом, а внутри, в кронах, угадывался серовато-голубой отблеск — я был безум-

но счастлив, пока, углубившись в нее, шел к тому дому, я чувствовал себя опутанным этой драгоценной красотой, упивался опьяняющей мимолетностью нашего человеческого счастья. Ты понимаешь? Эта волшебная достоверность безымянной сказки охватила меня... и... и...

Хеккер на некоторое время умолк; пока он, как мне показалось, подбирал нужные слова, я наполнил стаканы, и мы выпили; в этот момент вдребезги разлетелась нижняя часть бутылки, ее осколки с выматывающей душу медлительностью, один за другим, крутясь, упали в траншею.

Я страшно испугался, увидев, что Хеккер вдруг порывисто встал, наклонился вперед и отбросил в сторону занавеску; я схватил его за рукав и потянул назад, сейчас только до меня дошло, почему все это время меня грыз жуткий страх.

— Пусти меня! — заорал он. — Пусти меня, я иду, я иду по аллее...

Мы вышли из землянки, я стоял рядом с ним с бутылкой коньяка в руке.

— Я иду, — как безумный шептал Хеккер, — я иду туда, в конец, где стоит ее дом! Перед домом коричневая железная решетка, а она живет наверху и...

Я испуганно пригнулся, поскольку над ухом у меня просвистела пуля и ударила в то место, где только что стояла бутылка.

Хеккер продолжал что-то бессвязно шептать, неподдельное, совершенно безмятежное счастье читалось в чертах его лица, и, наверное, было самое время утащить его в блиндаж и прекратить все это, как он сам мне приказывал. В его путаной речи

можно было понять только одно: «Я иду — я просто иду туда, где живет моя девушка...»

Я повел себя очень малодушно, так как сидел на земле, сжимая в руке бутылку с коньяком, и чувствовал себя виноватым, ибо был трезв, беспощадно трезв, в то время как по лицу Хеккера расплывалось невероятно сладостное, неподдельное опьянение; он пристально, не мигая, смотрел на вражеские позиции сквозь черные стебли подсолнечника поверх разбитых крестьянских дворов; я бросил на него внимательный взгляд — он курил сигарету.

— Лейтенант, пойдем выпьем, — тихо позвал я его, протягивая ему бутылку коньяка, а когда я попытался встать, то понял, что и я сильно пьян; я проклинал себя за то, что не смог раньше зазвать его в блиндаж, ибо теперь было уже поздно; он не слышал меня, и в тот момент, когда я открыл было рот, чтобы позвать его еще раз, чтобы на худой конец хотя бы бутылкой выманить его из опасного места, я отчетливо услышал звонкий и высокий хлопок разрыва. Хеккер обернулся с пугающей быстротой, мимолетно, коротко и блаженно улыбнулся мне, положил сигарету на скат траншеи и, оседая, медленно-медленно упал навзничь — сердце мое сжалось и похолодело, бутылка выскользнула из моей руки; я в ужасе смотрел на коньяк, который с тихим бульканьем вытекал на землю, образуя маленькую лужицу. Снова стало тихо, и тишина эта была угрожающей...

Я, наконец, отважился посмотреть на лицо Хеккера: щеки запали, потемневшие глаза неотрывно

смотрели в одну точку, но все же по этому лицу как будто продолжала блуждать та же улыбка, которой он расцвел, шепча бессвязные слова. Я понимал, я знал, что он мертв. Но потом я вдруг закричал, закричал, как безумный; я, забыв всякую осторожность, перегнулся через край траншеи и крикнул, чтобы меня услышали в соседнем блиндаже:

— Хайн! На помощь! Хеккер убит!

Не дождавшись ответа, я, рыдая, опустился на дно траншеи, объятый невыразимым ужасом — голова Хеккера была разбита, не очень сильно, но заметно, и из отверстия хлестала кровь и выползало что-то желтовато-белое и страшное, и я был уверен, что это его мозг; из раны текло и текло, и я, оцепенев от страха, мог задаваться единственным вопросом: откуда столько крови в одной только голове? Дно нашей норы покрылось кровью, глинистая земля впитывала плохо, и кровь постепенно добралась до пятна, где я стоял на коленях рядом с пустой бутылкой...

Я остался один в целом свете наедине с кровью Хеккера, потому что Хайн не отвечал, а тихого шуршания выстрелов снайпера было больше не слышно...

Тишина внезапно взорвалась хлопком, я подскочил от неожиданности и в тот же миг ощутил удар в спину; удивительно, но никакой боли я не почувствовал; я опустился вперед, уткнулся головой в грудь Хеккера и тут же успокоился, несмотря на поднявшийся вокруг грохот, не позволявший мне забыться — сумасшедший лай пулемета из окопа Хайна, гулкие толчки от попаданий сна-

рядов тех минометов, которые мы называли органами; наверное, все дело было в том, что к темной крови Хеккера, скопившейся на дне окопа, примешалась светлая, чудо, какая светлая кровь, и я знал, что она теплая и моя собственная; я погружался все глубже и глубже, и, наконец, почувствовал, что я, счастливо улыбаясь, очутился в начале той самой аллеи, которую так и не смог описать мне Хеккер, потому что деревья теперь были голыми, пустота разверзлась между бледными тенями, а надежда умерла в моем сердце, когда я увидел далеко, невыразимо далеко впереди призывно машущий мне силуэт Хеккера в золотистом свете...

Смерть Лоэнгрина (1948)

Вверх по лестнице они несли носилки немного медленнее. Оба носильщика были разозлены — они заступили на службу уже час назад, и до сих пор никто не угостил их сигаретой, к тому же один из них был водителем, а водители не должны тащить носилки. Но из больницы никто не вышел их встречать, а они не могли оставить мальчишку в машине; надо было забрать еще одного с воспалением легких и самоубийцу, которого успели вытащить из петли. Они были страшно злы и поэтому понесли носилки немного быстрее. Коридор был тускло освещен, и пахло в нем, естественно, больницей.

— Зачем они только срезали веревку? — буркнул один, имея в виду самоубийцу; он шел сзади, а тот, что шел впереди, проворчал:

— Ты прав, зачем, собственно?

Отвечая, он обернулся и налетел на дверной косяк; пациент, лежавший на носилках, при этом очнулся и издал страшный пронзительный крик, детский крик.

— Тихо, тихо, — сказал врач, молодой человек с тонкой шеей студента, светлыми волосами и нервным подвижным лицом. Он посмотрел

на часы: было уже восемь, и, собственно, его уже давно должны были сменить. Он уже больше часа тщетно ждал доктора Ломейера, но, возможно, того арестовали; сегодня каждого могут в любой момент арестовать. Молодой врач привычным движением достал стетоскоп, неотрывно глядя на парнишку на носилках, но сначала бросил мимолетный взгляд на носильщиков, которые нетерпеливо ждали у двери; врач раздраженно спросил:

— Что такое, что вам еще нужно?

— Нам нужны носилки, — ответил водитель, — вы можете его куда-нибудь переложить? Нам надо спешить.

— Ах да, конечно!

Врач жестом указал на кожаный диван. В этот момент пришла ночная сестра, с виду равнодушная, но очень серьезная. Она взяла мальчика за плечи, а один из носильщиков — не водитель — просто ухватил его за ноги. Мальчик снова дико закричал, и врач торопливо заговорил:

— Ну, ну, успокойся, все будет не так плохо...

Носильщики, однако, не уходили и снова чего-то ждали. Один из них спокойно произнес, поймав раздраженный взгляд врача:

— Одеяло.

Одеяло, правда, не принадлежало ему; его отдала какая-то женщина на месте происшествия, потому что было решительно невозможно просто так везти мальчика с переломанными ногами в больницу. Носильщик думал, что больница захочет забрать одеяло, но в больнице их достаточно, а той женщине его все равно не вернут, мальчишке оно

нужно еще меньше, чем больнице, так что из больницы его надо забрать, и этого довольно. Жена стирает одеяло, а за одеяло сегодня дают приличную сумму.

Ребенок же продолжал кричать! Одеяло быстро размотали с ног и передали водителю. Врач и сестра переглянулись. Мальчишка выглядел ужасно: вся нижняя часть тела плавала в крови, короткие льняные штанишки были порваны в клочья, эти лохмотья спеклись с кровью в жуткую массу. Ноги были босые, ребенок непрерывно кричал, с какой-то непостижимой выносливостью и с правильными интервалами.

— Быстро, — прошептал врач. — Сестра, быстро, укол, скорее!

Сестра работала четко и сноровисто, но врач продолжал исступленно шептать:

— Быстрее, быстрее! — Рот то открывался, то закрывался на нервном лице. Ребенок вопил не переставая, но сестра просто физически не могла быстрее наполнить шприц.

Врач пощупал пульс мальчика, бледное лицо начало дергаться от изнеможения.

— Тихо, — тихо произнес он несколько раз, как безумный, — только успокойся!

Но ребенок продолжал кричать, он кричал так, как будто и на свет-то родился только для того, чтобы исступленно кричать. Потом, наконец, подошла сестра со шприцем, и врач очень быстро и умело сделал инъекцию.

Когда он, вздохнув, извлек иглу из жесткой, почти дубленой кожи, дверь открылась и в поме-

щение быстро и порывисто вошла монахиня, но, увидев пострадавшего и врача, она, явно собиравшаяся что-то сказать, промолчала и медленно и спокойно подошла к мальчику. Приветливо кивнув врачу и побледневшей медсестре, она положила ладонь на лоб мальчику. Мальчик вскинул взгляд вертикально вверх и удивленно посмотрел на черный силуэт у своего изголовья. Могло показаться, что прикосновение прохладной руки ко лбу успокоило ребенка, но и укол уже начал оказывать свое действие. Врач все еще держал в руке шприц, он еще раз глубоко вздохнул, и повисла тишина, волшебная, благословенная тишина, такая тишина, что все слышали дыхание друг друга. Никто не произносил ни слова.

Ребенок наверняка уже не чувствовал никакой боли и спокойно и с любопытством оглядывался.

— Сколько? — тихо спросил врач у ночной медсестры.

— Десять, — ответила она так же негромко.

Врач нервно пожал плечами.

— Многовато, пожалуй, но посмотрим. Вы нам не поможете, сестра Люба?

— Конечно, помогу, — поспешно ответила монахиня, отвлекшись от каких-то своих мыслей.

Было очень тихо. Монахиня держала мальчика за голову и плечи, медсестра взялась за ноги и стянула с ребенка пропитанные кровью ошметки одежды. Кровь, как они теперь заметили, была смешана с чем-то черным. Черно было все — ноги мальчика были покрыты угольной пылью, и все, включая и руки, было в крови, обрывках материи

и угольной пыли, плотной, почти маслянистой угольной пыли.

— Все ясно, — пробормотал врач, — воровал уголь с поезда и упал, когда он тронулся, так?

— Да, — ответил мальчик ломким голосом, — ясное дело.

Взгляд его стал живым, в глазах светилось какое-то странное и неуместное счастье. Укол сработал чудодейственно. Монахиня задрала рубашку мальчишки и валиком свернула ее под его подбородком. Мальчик был тощ, до смешного тощ, как старый ободранный гусь. Над ключицами зияли настоящие ямы, в которых скопились темные тени — глубокие впадины, в которых монахиня могла бы спрятать свои крупные белые руки. Теперь они рассмотрели и ноги, точнее, те их части, что остались целы. Ноги были тонкие, изящные и стройные. Врач, кивнув женщинам, сказал:

— Вероятно, двойной перелом с обеих сторон, нужен рентген.

Ночная сестра тампоном, пропитанным спиртом, чисто протерла ноги маленького пациента; теперь ноги выглядели не так уж и страшно. Мальчишка был, правда, ужасающе худ. Врач только качал головой, накладывая повязку. Он снова с тревогой подумал о Ломейере; наверное, его все же схватили, и, если даже он ничего не разболтает, дело все равно дрянь — тот будет сидеть из-за строфантина, а он сам останется на свободе, а ведь оба могли бы получить дополнительные деньги. Черт, уже наверняка половина девятого, стало как-то до ужаса тихо, на улице не было слышно никако-

го шума. Врач наложил повязку, монахиня опустила мальчику рубашку до пояса. Потом она подошла к шкафу, достала оттуда белое одеяло и укрыла ребенка.

Снова положив ладони на лоб мальчика, она сказала врачу, который мыл руки:

— Собственно, я пришла из-за маленькой Шранц, господин доктор, но решила не мешать вам, пока вы занимались мальчиком.

Врач перестал вытирать руки, лицо его слегка искажилось, сигарета, висевшая на нижней губе, задрожала.

— Что с маленькой Шранц? — спросил он.

Бледное его лицо стало почти желтым.

— Ах, ее сердечко не хочет больше работать, оно просто не хочет, и, кажется, все идет к концу.

Врач, вынув сигарету из рта, повесил полотенце на крючок рядом с раковиной.

— Проклятье, — беспомощно воскликнул он. — Что я могу сделать? Я ничего уже не могу сделать!

Монахиня все еще держала руку на лбу мальчика. Медсестра опустила окровавленный тампон в ведро для отходов, никелированная крышка которого отбрасывала на стену мерцающее светлое пятно.

Врач задумчиво посмотрел в пол, потом резко поднял голову, еще раз посмотрел на мальчика и бросился к двери:

— Пойду посмотрю.

— Я вам нужна? — спросила медсестра ему вслед; он обернулся и просунул голову в дверь.

— Нет, оставайтесь здесь, подготовьте мальчика к рентгену и заведите историю болезни.

Мальчик совершенно успокоился, к тому же сестра стояла теперь возле дивана, на котором он лежал.

— Твоя мать знает, что с тобой случилось?

— Она умерла.

Медсестра не решилась спросить об отце.

— Кому мы можем сообщить о происшествии?

— Моему старшему брату. Правда, его сейчас нет дома. Но малыши должны знать, они дома одни.

— Какие малыши?

— Ханс и Адольф, они ждут, когда я приду и приготовлю ужин.

— А где работает твой старший брат?

Мальчик промолчал, и монахиня не стала его расспрашивать.

— Вы будете писать?

Медсестра, кивнув, подошла к маленькому белому столу, заставленному медикаментами и склянками с препаратами. Она пододвинула к себе чернильницу, обмакнула перо, а левой рукой разгладила лист бумаги.

— Как тебя зовут? — спросила мальчика монахиня.

— Беккер.

— Какого ты вероисповедания?

— Никакого, я некрещеный.

Монахиня болезненно вздрогнула, лицо медсестры осталось безучастным.

— Так, когда ты родился?

— В тридцать третьем... десятого сентября.

— Ты еще учишься в школе, да?

— Да.

— Да... Твое имя?

— Грини.

— Как? — Обе женщины, улыбнувшись, посмотрели друг на друга.

— Грини, — медленно повторил мальчик; было видно, что он злился, как все люди с необычными именами, когда их переспрашивают.

— Через «и»? — спросила медсестра.

— Да, с двумя «и». — И он еще раз повторил: — Грини.

Собственно, его звали Лоэнгрин, потому что он родился в 1933 году, когда первые хроникальные кадры с Гитлером на Байрейтском фестивале крутили во всех кинотеатрах Германии. Но мать всегда называла его Грини.

В кабинет стремительно влетел врач, глаза его припухли от усталости, а тонкие светлые волосы падали на молодое, но уже исчерченное морщинами лицо.

— Идемте, идемте скорее, я хочу попытаться сделать еще одно переливание крови, идемте, скорее, скорее!

Монахиня бросила взгляд на мальчика.

— Да, да, — закричал врач, — оставьте его ненадолго одного.

Медсестра уже стояла в дверях.

— Ты не против немного полежать здесь, Грини? — спросила монахиня.

— Нет, не против, — ответил ребенок.

Но когда все они вышли, он просто дал волю хлынувшим из глаз слезам, как будто рука монахини на лбу сдерживала их. Мальчик плакал не от бо-

ли, он плакал от счастья. Но и из-за боли и страха тоже. Только думая о малышах, он плакал от боли, и он постарался о них не думать, потому что хотел плакать от счастья. Никогда в жизни не чувствовал он себя так чудесно, как сейчас, после укола. Лекарство разливалось у него внутри как чуть-чуть теплое молоко, кружило голову и одновременно бодрило, отзываясь драгоценным вкусом на языке, но ему приходилось, однако, все время думать о малышах. Губерт едва ли вернется до утра, отец появится только через три недели, мать же... а малыши совершенно одни, и он точно знал, что они сейчас прислушиваются к каждому шагу, каждому шороху на лестнице, а на лестнице все время слышатся страшные звуки и ужасно много разочарований для малышей. Едва ли есть надежда на то, что фрау Гроссман возьмет их к себе, она никогда этого не делала, да и не могла же она знать, что он... что с ним произошло несчастье. Ханс, наверное, будет утешать Адольфа, но Ханс сам очень слаб и плачет по любому поводу. Скорее Адольф станет утешать Ханса, но Адольфу только пять, а Хансу уже восемь, так что, вероятнее, Ханс будет успокаивать Адольфа. Но Ханс страшный слабак, Адольф покрепче. Нет, скорее всего, они оба будут плакать, поскольку к семи вечера они теряют всякую радость от своих игр, становятся голодными, но знают, что он придет в половине восьмого и даст им поесть. Они не осмелятся взять хлеб, да, они никогда не осмеливаются, ведь он им строго-настрого запретил это делать — после того как они пару раз съели все, весь недельный рацион;

можно, правда, взять картошку, но они не догадываются. Эх, если бы он им сказал, что можно взять картошку! Ханс уже научился варить картошку; но они не осмелятся, он слишком сильно их наказал, пришлось их даже побить, ведь так нельзя, просто нельзя — они же съели весь хлеб, нет, так нельзя, но теперь он был бы просто счастлив, если бы никогда их не наказывал, и тогда они сейчас взяли бы хлеб и, по крайней мере, не чувствовали бы голода. А так они сидят теперь и при каждом шуме выбегают на лестницу, прижимаясь бледными мордашками к дверной щели; он видел это часто, может, тысячу раз, как они это делали. Да, он первым делом видел их мордашки, а потом уже их радость. Да, даже после того, как он их побил, они все равно радовались его приходу. А теперь каждый шорох только усилит их разочарование, они будут испытывать только страх. Ханс начинал дрожать, едва заведя полицейского; может, они будут реветь так громко, что фрау Гроссман начнет ругаться, она любит отдыхать по вечерам, но они все равно будут плакать, и фрау Гроссман, возможно, зайдет узнать, что случилось, а потом смилостивится над ними; она не такая уж и плохая, фрау Гроссман. Но сам Ханс никогда не пойдет к фрау Гроссман, он страшно ее боится. Ханс, он всего боится...

Хоть бы они догадались взять картошку!

Когда он снова подумал о малышах, слезы потекли от одной только боли за них. Он попытался закрыть рукой глаза, чтобы не видеть братиков, почувствовал, что рука стала мокрой, и заплакал

еще горше. Теперь он силился, старался понять, который час. Было уже точно девять, а, может, и десять, и это пугало. Он никогда не возвращался позднее половины восьмого, но сегодня состав охранялся особенно рьяно, охрана смотрела во все глаза, люксембуржцы так любят пострелять. Наверное, им не удалось настроеляться на войне, и теперь они дают себе волю; но его они не взяли, нет уж, они ни разу не смогли его поймать; он всегда от них ускользал. Бог ты мой, это же был антрацит, ну не мог он упустить антрацит, за антрацит давали без проблем семьдесят, а то и восемьдесят марок, и такое он должен был упустить! Но люксембуржцы его не взяли; он обманывал русских, ами, томми и бельгийцев, так что же, он не сможет перехитрить каких-то дурацких люксембуржцев? Он ловко их обошел, запрыгнул на контейнер, набил мешок, сбросил его вниз, потом собрал, сколько еще мог унести, и тоже сбросил следом, но тут вдруг — крак! — поезд резко дернулся, и он помнил только, что ему стало невыносимо, умопомрачительно больно, и больше он ничего не помнил, очнулся, только когда оказался у этой двери и увидел белую комнату. Потом ему сделали укол. Теперь он снова плакал от счастья. Малыши пропали из виду; в счастье было что-то величественное, такого чувства он не испытывал никогда в жизни; сами слезы казались ему счастьем, счастье изливалось из него, но продолжало распирает грудь; этого сверкающего, сладкого, головокружительного чувства, этого странного кома, который лился из него слезами, не становилось меньше...

Вдруг он услышал стрельбу люксембуржцев, у них были автоматы, выстрелы звучали жутко и страшно в этот прохладный весенний вечер; пахло полем, паровозным дымом, углем и еще, немножко, настоящей весной. Под небом грохнули два выстрела, под темно-серым небом; эхо тысячекратно вернулось на землю; в груди кольнуло, словно от удара иглой; нет, эти проклятые люксембуржцы его не возьмут, и убить его они тоже не смогут! Уголь, на котором он лежал, был твердым и острым, это же был антрацит, за центнер антрацита давали восемьдесят, да, до восьмидесяти марок. Может, стоит купить малышам шоколаду? Нет, этого будет мало. За шоколадку возьмут сорок или даже сорок пять; так много он отстегнуть не сумеет; бог ты мой — целый центнер за две плитки шоколада; но эти люксембуржцы просто последние собаки, они снова стреляли, его босым ногам было холодно и больно от колкого антрацита. Ноги были черными и грязными, он это хорошо чувствовал. Выстрелы проделывали большие дыры в небе, но они не могли застрелить его насмерть; или все же люксембуржцы могли застрелить и небо?

Может, надо было сказать медсестре, где его отец и куда ходил по ночам Губерт? Но его же не спросили, и не надо ничего говорить, если тебя не спрашивают. Так учили в школе... чертовы люксембуржцы... и малыши... люксембуржцы должны были прекратить стрелять, ведь ему же надо к малышам... они совсем с ума посходили, просто чокнулись эти люксембуржцы. Черт, нет, он просто не

сказал медсестре, где отец и куда ходит по ночам брат, и, наверное, малыши все же взяли хлеб... или картошку... или фрау Гроссман все-таки заметила, что в их квартире что-то не так, поскольку что-то и правда было не так; да, все было странно, не так, как всегда; но ведь и всегда было что-то не так. Господин директор тоже будет ругаться. Сработало на славу, он ощутил укол боли, а потом пришло счастье! Эта бледная медсестра уколола его счастьем, и он собственными ушами слышал, что она набрала слишком много счастья в шприц, слишком много счастья, и это не так уж глупо. Грини с двумя «и»... нет, она умерла... нет, это ошибка. Счастье было великолепно, он бы купил и малышам немного такого же счастья в уколе; купить можно все... целые горы хлеба.

Черт, спрашивают: «через два “и”»? Не знают самых лучших немецких имен?..

— Нет! — закричал он вдруг, — я некрещеный!

Может быть, мама жива? Нет, ее застрелили люксембуржцы, нет, русские... нет, кто знает, может, ее застрелили нацисты — она так их ругала... нет, все же американцы... ах, малыши же, они должны спокойно есть хлеб, есть хлеб, целые горы хлеба... вагон, полный хлеба... полный вагон антрацита и счастья в уколах.

Черт вас возьми, с двумя «и»!

К нему подбежала монахиня, тотчас проверила пульс и растерянно оглянулась. Бог мой, видимо, надо позвать врача? Но как она может бросить это бредящее дитя? Малютка Шранц умерла, ушла в иной мир, благодарение Богу, эта маленькая де-

вочка с русским личиком! Где только запропастился этот врач... она обежала кожаный диван...

— Нет, — закричало дитя, — я некрещеный!

Пульс уже невозможно было посчитать. На лбу монахини выступил холодный пот.

— Господин доктор! Господин доктор! — закричала она изо всех сил, прекрасно понимая, что ни один звук не пройдет через обитую дерматином дверь...

Теперь дитя жалобно причитало:

— Хлеб... целая гора хлеба для малышей... шоколад... антрацит... люксембуржцы, эти свиньи, как они могут стрелять, черт, есть картошка, вы можете спокойно брать картошку... идите, берите ее! Фрау Гроссман... отец... мама... Губерт... приоткройте дверь... выходите через щель, через щель.

Монахиня плакала от страха, она не отваживалась выйти, ребенок начал извиваться, и ей пришлось удерживать его за плечи. Боже, какой же скользкий этот кожаный диван. Малютка Шранц умерла, сердечко ее уже на небе. Боже, будь к ней милостив, к маленькому некрасивому русскому ангелочку... но теперь она прекрасна...

— Нет, — кричал мальчик, отбиваясь от монахини, — я некрещеный!

Монахиня в отчаянии осмотрелась, подбежала к раковине, боязливо не отрывая взгляда от ребенка. Она не смогла найти стакан, снова кинулась к дивану, провела рукой по пылающему лбу, потом подошла к белому столику и схватила химический цилиндр. Как быстро цилиндр наполнился водой! Боже, как мало воды вмещается в мерный цилиндр...

— Счастье, — лихорадочно шептало дитя, — сделайте много счастья в уколах, все, что у вас есть, чтобы хватило и малышам...

Монахиня торжественно перекрестилась, торжественно и очень медленно, потом вылила из цилиндра воду на лобик мальчика и, сквозь слезы, произнесла: «Крещается...», но ребенок от холодной воды пришел в себя и резко поднял голову, так резко, что выбил ею шприц из рук сестры. Сканка упала на пол и со звоном разбилась вдребезги. Мальчик посмотрел на парализованную ужасом сестру и с кроткой улыбкой тихо сказал:

— Я окрещен... да... — Потом он с такой силой откинулся на спину, что его голова с мягким стуком ударилась о диван. Лицо его стало маленьким, узким и старым, и ужасающе пожелтело; он лежал теперь неподвижно, растопырив пальцы, как будто хотел что-то схватить.

— Ну, сделали рентген? — крикнул врач, который, смеясь, вошел в кабинет вместе с доктором Ломейером. Монахиня только покачала головой. Врач подошел ближе, привычно схватился за стетоскоп, но тут же снова положил его в карман и посмотрел на Ломейера. Тот снял шляпу. Лоэнгрин был мертв...

**Эрнест
Миллер
Хемингуэй**

ЭКСПРЕСС «ВАЛХАЛЛА»

(из «За рекой, в тени деревьев»)

«Но смерть — дерьмо, — думал он. — Смерть приходит к тебе мелкими осколками снаряда, снаружи даже не видно, где она вошла. Иногда она ужасна. Она может прийти с некипяченой водой, с плохо натянутым противомоскитным сапогом или с грохотом добела раскаленного железа, который никогда не смолкал. Она приходит с негромким потрескиванием, предвещающим очередь из автомата. Она приходит с дымящейся параболой летящей гранаты и с резким ударом мины.

Я видел, как она падает, оторвавшись от бомбодержателя, и описывает в воздухе причудливую дугу. Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина или когда просто отказывает управление на скользкой дороге.

Но я знаю, что ко многим она приходит в постели как обратная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим — в этом было мое ремесло. Но что же мне рассказать моей девушке в это холодное ветреное утро, здесь, в «Гритти-палас»?»

— О чем бы тебе рассказать, дочка? — спросил он ее.

— Обо всем.

— Ладно, — сказал полковник. — Тогда слушай.

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, на приятной, жестковатой, только что постеленной кровати; она положила ему голову на грудь, и волосы ее рассыпались по его старой, жилистой шее.

Он начал рассказывать:

— Мы высадились, но не встретили серьезного сопротивления. Настоящую встречу нам готовили в другом месте. Затем мы соединились с воздушным десантом, заняли и закрепили за собой несколько городов и наконец захватили Шербур. Это было нелегко, операцию пришлось провести очень быстро; командовал ею генерал по прозвищу Молниеносный Джо, о котором ты, верно, никогда и не слыхала. Хороший генерал.

— Пожалуйста, дальше. Про Молниеносного Джо ты мне уже говорил.

— После Шербура у нас всего было вдоволь. Себе я не взял ничего, кроме адмиральского компаса, — у меня тогда была моторка на Чизапикском заливе. Нам достался весь коньяк германского интендантства, а кое-кто из офицеров прикарманил миллионов по шести французских франков, которые печатали фрицы. Их принимали до прошлого года; за доллар давали пятьдесят франков, и те, кто ухитрился переслать франки домой — через любовниц или адъютантов, — неплохо на этом нажились.

Я-то ничего не украл, кроме компаса, — мне казалось, что зря красть на войне не стоит: это приносит несчастье. Но коньяк я пил и в свободные минуты учился читать этот сложный компас. Компас был моим единственным другом, а телефон поглощал всю жизнь. Проводов у нас было больше, чем б... в Техасе.

— Пожалуйста, рассказывай, но, если можешь, говори поменьше грубых слов. Этого слова я не понимаю и не желаю его понимать.

— Техас — большой штат, — сказал полковник. — Вот почему я привел в пример его женское население. Я же не мог привести в пример Вайоминг — народу там не больше тридцати, ну от силы пятидесяти тысяч, а проводов была уйма, их то и дело приходилось тянуть, свертывать, а потом тянуть снова.

— Дальше.

— Перейдем сразу к прорыву, — сказал полковник. — Но скажи, тебе не скучно?

— Нет.

— Так вот, об этом сволочном прорыве, — сказал полковник, повернув к ней голову. Теперь он уже не рассказывал, а, скорее, исповедовался. — В первый же день появилась их авиация и сбросила такие игрушки, которые сбивают с толку радар, и наше наступление отменили. Мы были готовы, но его отменили. Начальству, конечно, виднее. Ох, до чего ж я люблю начальство, прямо как горькую редьку.

— Рассказывай и не злись.

— Условия, видите ли, не благоприятствовали, — сказал полковник. — Ну, на другой день мы все-таки бросили вызов врагу, как говорят наши двоюродные братья англичане, которые не в состоянии прорвать даже мокрое полотенце; вот тут над нами и стали парить наши короли воздуха. Когда мы увидели первые самолеты, остальные еще только поднимались с насиженных мест на поросшем зеленой травкой авианосце, который зовется Англией. Они так и сияли, светлые, красивые, — к тому времени защитную окраску первых дней вторжения уже соскребали, а может, ее и раньше не было. Точно не помню.

Так или иначе, дочка, вереница самолетов тянулась на восток, насколько хватало глаз. Похоже было на бесконечно длинный поезд. Они летели высоко в небе, красота, да и только! Я еще сказал своему начальнику разведки, что этот поезд можно окрестить «Валгалла». Тебе не надоело слушать?

— Нет. Я так и вижу тот экспресс «Валгалла». У нас тут никогда не бывало столько самолетов. Но вообще самолеты мы видели. Даже часто.

— Мы находились в двух тысячах ярдов от исходного рубежа. А ты знаешь, дочка, что такое две тысячи ярдов перед атакой?

— Нет. Откуда мне знать.

— Тут головная часть экспресса «Валгалла» сбросила дымовые бомбы, развернулась и пошла домой. Бомбы были сброшены точно, они ясно указали цель — позиции фрицев. Хорошие у них были позиции, ничего не скажешь: пожалуй, мы бы их оттуда не выбили, если бы не весь тот пышный аттракцион, который мы тогда наблюдали.

Ну а потом чего только не сбросил экспресс «Валгалла» на фрицев — туда, где они засели и где пытались нас задержать!

Позднее там все выглядело как после землетрясения, а пленные, которых мы брали, дрожали, словно в лихорадке. Это были храбрые парни из Шестой парашютной дивизии, но их трясло, и они никак не могли взять себя в руки.

Сама видишь, бомбежка была что надо. Как раз то, о чем можно мечтать, если хочешь повергнуть противника в страх и трепет.

Короче говоря, дочка, ветер подул с востока, и дым стало относить назад, прямо на нас. Тяжелые бомбардировщики бомбили линию дымовой завесы, а она висела теперь над нами. Вот авиация и принялась нас бомбить так же усердно, как раньше фрицев. Сперва это были тяжелые бомбардировщики, и тому, кто там побывал, уже нечего бояться ада. Потом, чтобы подготовить прорыв получше и оставить как можно меньше людей с обеих сторон, налетели средние бомбардировщики и принялись за тех, кто был еще жив. Ну а потом, как только экспресс «Валгалла» повернул домой, растянувшись во всей своей красе и величии от французского побережья через всю Англию, мы пошли на прорыв.

«Если у человека есть совесть, — сказал себе полковник, — ему иногда не мешает подумать, что такое военная авиация».

— Дай-ка мне бокал вальполичеллы, — сказал полковник и чуть не забыл добавить «пожалуйста». — Извини, — сказал он. — Пожалуйста, ляг поудобней, киса. Ты ведь сама просила, чтобы я тебе рассказал.

— Я не киса. Ты меня, наверно, с кем-нибудь спутал.

— Правильно. Ты моя последняя, настоящая и единственная любовь. Так? Но ты сама просила меня рассказывать.

— Пожалуйста, рассказывай, — сказала девушка. — Я бы хотела быть твоей кисой, но не знаю, что для этого нужно. Я ведь всего-навсего девушка из Венеции и люблю тебя.

— Так и запишем, — сказал полковник. — И я тебя люблю; а это словечко я, кажется, подцепил на Филиппинах.

— Может быть. Но мне бы хотелось быть просто твоей девушкой.

— Ты и есть моя девушка, — сказал полковник. — Вся, целиком, со всеми потрохами.

— Пожалуйста, не говори грубостей, — сказала она. — Пожалуйста, люби меня и Расскажи все, как было, но только не расстраивайся.

— Я расскажу тебе все, как было, — сказал он. — Во всяком случае, постараюсь, и будь что будет. Если уж ты этим интересуешься, лучше тебе все узнать от меня, чем прочесть в какой-нибудь дерьмовой книжке.

— Пожалуйста, не надо быть грубым. Ты просто Расскажи мне все, как было, и обними меня покрепче, но рассказывай по порядку, чтобы у тебя на душе стало легче. Если тебе это удастся.

— Мне не от чего облегчать душу, — сказал он. — Разве что от воспоминаний о том, как тяжелые бомбардировщики действуют в тактических целях. Я ничего против них не имею, если они действуют правильно, — пусть даже тебе грозит смерть. Но для поддержки наземных сил мне подавай кого-нибудь вроде Кесады. Вот кто влепит им пинка в задницу.

— Пожалуйста, не надо...

— Если ты захочешь бросить такую старую клячу, как я, этот парень всегда окажет тебе поддержку.

— Ты вовсе не старая кляча, что бы это ни значило, и я тебя люблю.

— Пожалуйста, дай мне две таблетки вон из той бутылочки и налей бокал вальполичеллы, который ты так и не налила, а я расскажу тебе еще кое-что.

— Не надо. Не надо рассказывать, я теперь знаю, что тебе это вредно. Особенно — про тот день, когда появился экспресс «Валгалла». Я не инквизиторша, или как там называют инквизиторов женского рода. Давай полежим тихо и поглядим в окно, что творится у нас на Большом канале.

— Пожалуй, это и в самом деле лучше. Да и кому какое дело до этой проклятой войны?

МЕРТВЫЙ

(из «За рекой, в тени деревьев»)

«В первый же день мы потеряли там трех батальонных командиров. Одного убили через двадцать минут, двух других — чуть позже. Для какого-нибудь журналиста это холодные цифры потерь. Но хорошие командиры батальонов не растут на елке, даже на рождественских елках, которых не счесть в тех лесах. Не знаю, сколько раз мы теряли командиров роты. Но я мог бы установить и это.

Их тоже не пекут и не выращивают, как картошку. Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал: проще и целесообразнее пристреливать их сразу, на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла, чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хоронить по всем правилам. Чтобы везти их трупы, нужны люди и горючее; чтобы рыть могилы, опять же нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули.

Все время сыпал снег или какая-то крупа, похожая на снег, был дождь, туман; дороги были заминированы, кое-где лежало чуть не по четырнадцать мин в ряд, машины вязли в грязи, буксовали, мы постоянно теряли машины и, конечно, людей, которые в них ехали.

Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов; он продумал все до тонкостей, и, как ни хитри, ты все равно попадал в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию.

Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смирно. А мы еще ходили в атаку — все время, изо дня в день.

Не будем больше об этом думать. Ну его к черту. Вот вспомню еще только два случая, чтобы от них отвязаться. Один произошел на голом пригорке, по дороге в Гроссгау.

Как раз перед тем, как выбраться на открытое место, — а оно просматривалось противником и простреливалось полевыми пушками, — вы попадали в мертвое пространство, где вас могли достать только гаубичным заградительным огнем или из минометов справа. Когда мы выбили противника, оказалось, что его минометчики хорошо просматривали и этот участок.

И все-таки это было довольно безопасное место; ей-богу, не вру, да тут и не соврешь. Попробуй-ка, обмани тех, кто побывал в Хертгенском лесу; соври — и тебя уличат, не успеешь и рта открыть, будь ты хоть трижды полковник.

Вот тут мы и встретили грузовик. Лицо у водителя было такое же серое, как у всех, и он сказал:

— Господин полковник, там впереди, посреди дороги, лежит убитый солдатик; всякий раз, когда идет машина, приходится по нему ехать, и это, наверно, производит на людей скверное впечатление.

— Мы его уберем.

И мы его убрали с дороги.

Не могу забыть, какой он был на ощупь, когда мы его поднимали, как его сплющило и как странно видеть сплющенного человека.

И еще. Мы сбросили целую кучу белого фосфора на город, прежде чем его, так сказать, захватили. Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя, в общем, и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре?

Сколько можно рассказать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войне все равно не

помешаешь. Люди возразят: мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане.

В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные.

Настоящий солдат не станет рассказывать, как выглядят свои мертвецы, — сказал он, обращаясь к портрету. — Впрочем, с этой темой я покончил. А вот как насчет роты, которая погибла на мосту? Что ты скажешь о ней, старый вояка?

Они мертвы, — сказал он. — Лопни мои глаза.

Так с кем же мне чокнуться бокалом вальполичеллы? Скажи, портрет, когда мне разбудить твой оригинал? Нам еще надо зайти к ювелиру. И я буду шутить и занимать тебя веселым разговором.

А что на свете есть веселого, а, портрет? Тебе ведь и карты в руки. Ты умнее меня, хотя я и больше твоего пошатался по свету.

Ладно, нарисованная девушка, — сказал полковник, не произнося вслух ни слова, — на этом мы кончим рассказ, а ровно через одиннадцать минут я разбужу живую девушку, мы выйдем с ней в город, будем веселиться, а тебя оставим здесь, и тебя здесь запакуют.

Я не хотел тебя обидеть. Это просто неуклюжая шутка. Я вообще не хочу тебя обижать, ведь отныне мы будем жить с тобой вместе. Надеюсь, что будем жить», — добавил он и выпил бокал вина.

ВETERАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА МЕСТА БЫЛЫХ БОЕВ

«Торонто дейли стар»,

22 июля 1922 г.

Париж. — Не возвращайтесь туда, где воевали. Если у вас в памяти запечатлелось случившееся однажды ночью в грязи Пашендейла и во время атаки на склоне Вими, не пытайтесь вернуться туда и найти подтверждение своим воспоминаниям. Ничего хорошего из этого не выйдет. Фронт нынче совсем не такой, точно так же, как ваша высокоуважаемая голень с тонким белым шрамом мало чем напоминает вашу ногу в тот момент, когда вы накладывали на нее жгут, а кровь пропитывала портянку и стекла в сапог. Вам тогда еще помогли подняться и довели до перевязочного пункта.

Если хотите, отправляйтесь на фронт, где воевал кто-то еще. Ваше воображение вам поможет, и вы, возможно, сможете представить себе, что там происходило. Но не возвращайтесь туда, где воевали сами, потому что и изменения во всем, и запредельная, беспощадная, унылая скука, и ровная зелень полей, более не перепаханная взрывами снарядов и не прорезанная окопами и колючей проволокой, объединятся против вас и заставят поверить, что места и события, которые имели для вас столь важное значение, всего лишь горячечный бред и лживые рассказы, в правдивости которых вы убедили себя. Все равно что прийти в пустой зрительный зал театра, где после спектакля при-

бираются уборщицы. Я знаю, потому что побывал там, где воевал.

Поле боя изменилось кардинальным образом, вернуло себе прежнюю зеленую самоуверенность. Воронки засыпали, как и окопы, доты взорвали, а бетонные обломки увезли, проволоку скатали и отправили ржаветь в какое-то другое место, этого следовало ожидать, но пропало и ощущение, что здесь воевали, пропало после того, как мертвых, благодаря которым это поле оставалось и святым, и реальным, выкопали и перезахоронили на больших, аккуратных, бетонных кладбищах, далеко от тех мест, где они умерли. А больше всего произошедшие изменения потрясают вас в городах, где вы квартировали, в которых теперь не осталось ни одного военного шрама. Есть много маленьких городов, которые вы любите, и, если на то пошло, никто, кроме кадрового офицера, не может любить поле боя.

На том участке фронта, где воевали канадцы, могут быть города со странными фламандскими названиями и узкими, мощенными брусчаткой улицами, сохраняющие свою магию. Такие города могут быть. Но я только что вернулся из Скио. Я помнил, что во время войны Скио был прекрасным городом, а теперь не узнал его... и многое отдал бы за то, чтобы не приезжать сюда вновь.

Скио был одним из лучших мест на земле. Маленький город в Трентино у подножия Альп, и в нем царила атмосфера дружелюбия, удовлетворенности и расслабленности, о которой можно только мечтать. Когда мы квартировали там, всем все нравилось, и мы мечтали о том, чтобы после войны вернуться в этот чудесный городок и поселиться в нем навсегда. Особенно мне завспоминался первоклассный отель «Две шпаги», в котором изумительно готовили, и мы называли фабрику, на территории которой располагались наши казармы, «Загородным клубом Скио».

Скио, в котором я только что побывал, казалось, ссохся. Я прошел по одной стороне длинной и узкой главной улицы, глядя на выставленные в витринах магазинов рубашки пестрой расцветки, дешевые фарфоровые блюда, открытки с молодыми юношами и девушками, заглядывающими друг другу в глаза, разнообразными пирожными, большими караваем хлеба из перебродившего теста. Улица выводила к горам, но неделей раньше я уже прошел по перевалу Сен-Бернар, и эти горы, без снежных шапок, мрачные, вымоченные дождем, больше напоминали холмы. Я долго смотрел на горы, а потом пошел обратно по другой стороне улицы, к бару. Начал накрапывать дождь, и торговцы прикрывали витрины магазинов.

— Город изменился после войны, — поделился я своими наблюдениями с девушкой, краснощекой, черноволосой и, похоже, всем недовольной, которая сидела на табурете и вязала за обитой оцинкованным железом стойкой.

— Да? — ответила она, продолжая вязать.

— Я был здесь во время войны, — добавил я.

— Как и многие другие, — с горечью пробормотала она.

— Grazie, Signor, — механически, сухо поблагодарила она меня, когда я заплатил за выпивку и вышел.

Таким оказался Скио. Более того, первоклассный отель «Две шпаги» превратился в маленькую гостиницу, фабрика, где находились наши казармы, работала, ворота, через которые мы заходили на ее территорию, заложили кирпичом, а поток черной жижи загрязнял речку, в которой мы купались. Жизнь здесь больше не бурлила. Ранним утром следующего дня я оставил Скио мокнуть под дождем. Ночью спал плохо.

Я помнил в Скио один сад, где вдоль стены росли глицинии. Бывало, жаркими ночами мы пили там пиво при свете огромной луны под огромным платаном. После моей слепополуденной прогулки мне хватило ума не пытаться найти этот сад. Может, его и не существовало.

Возможно, около Скио и не шла война. Я помню, как лежал на скрипучей кровати в отеле и пытался читать под электрической лампой, подвешенной под самым потолком в центре комнаты, а потом выключил свет и посмотрел из окна на дорогу, туда, где уличный фонарь подсвечивал дождь. По этой самой дороге батальоны маршировали сквозь пыль в 1916 г. Бригада Анконе, бригада Комо, бригада Тоскана и десять других спустились с Карсо, чтобы остановить австрийцев, наступление которых перелестнуло через горную стену Трентино и грозило затопить Венецию и Ломбардию. В те дни это были боеспособные войска, и они промаршировали сквозь пыль ранним летом, и остановили наступление на линии Галио — Асьяго — Канова, и умирали в горных долинах, и в сосновых лесах на склонах Трентино, ища убежище под одинокими скалами и шагая по мягкому снегу раннего лета в окрестностях Пасубио.

По этой же дороге некоторые из тех же бригад маршировали сквозь пыль и в июне 1918 г., переброшенные к реке Пьяве, чтобы остановить другое наступление. Их лучшие погибли на гористом Карсо, в боях у Гориции, на Сан-Габриэле, на Граппе и в других местах, о которых никто не слышал, но где тоже гибли люди. В 1918-м они не выказывали такого рвения, как в 1916-м, и некоторые солдаты измотались до предела: уже после того, как батальон превращался в облако пыли далеко впереди, оставшие тащились по обочине, едва передвигая больные ноги, потев под грузом заплечных мешков и винтовок, а обжигающее итальянское солнце немилосердно заливало их своими лучами.

Мы отправились в Местре, где находилась одна из крупных станций снабжения для фронта на Пьяве. Ехали первым классом, вместе с дурно пахнущими итальянскими спекулянтами, которые собирались провести отпуск в Венеции. В Местре мы наняли автомобиль, чтобы доехать до Пьяве, расположились на заднем сиденье, изучали

карту и местность по обе стороны длинной дороги, проложенной сквозь зеленые болота, которые занимали все адриатическое побережье неподалеку от Венеции.

Около Порто-Гранде, в той части дельты Пьяве, где австрийцы и итальянцы атаковали и контратаковали по пояс в болотной воде, наш автомобиль остановился на пустынном участке дороги, проложенной по насыпи среди зеленого моря болот. Потребовалось немало усилий, чтобы отремонтировать коробку передач, и наш водитель загнал в палец железную занозу, которую моя жена [Хэдли] вытащила иголкой из нашего рюкзака. Мы все это время жарились на солнце. В какой-то момент ветер разогнал туман над Адриатикой, и мы увидели Венецию, лежащую по другую сторону болот и моря, серо-золотую, словно сказочный город.

Наконец, водитель вытер масло с рук и пышных волос, коробка передач включилась в работу, когда он отпустил сцепление, и мы покатали дальше по болотистой равнине. Фоссалту я помнил городком, превращенным снарядами в руины, где не могли жить даже крысы. Больше года Фоссалта находилась в пределах досягаемости минометов австрийцев, и в периоды затишья австрийцы разрушали все, что по их разумению, следовало разрушить. Во время активных действий Фоссалта стала первым городом, захваченным австрийцами на этой стороне Пьяве, и последним, который они покинули. Очень много людей погибли на улицах, заваленных мусором и обломками разрушенных домов. Итальянцы даже применили огнеметы, чтобы выкуривать цепляющихся за каждый дом австрийцев.

Мы остановили автомобиль в Фоссалте и отправились на прогулку. Трагическое величие разрушенного войной города исчезло бесследно. Его место заняло самодовольство новых, отвратительных, оштукатуренных домишек, ярко-синих, красных, желтых. Новенькая, оштукатуренная церковь производила особо жуткое впечатление. Дере-

вья, расщепленные и посеченные осколками, показывали свои шрамы, но для этого к ним следовало приглядеться, а если ты и не знал, что они стояли здесь в войну, то, проходя мимо, ничего бы и не заметил. Они прекрасно выглядели, густая, сочная листва дышала здоровьем.

Я поднялся на заросший травой склон над проложенной под ним дорогой, склон, ранее испещренный землянками, и посмотрел вниз, на другой, более пологий склон, спускающийся к синей реке. Пьяве такая же синяя, как Дунай — грязно-коричневый. На другом берегу поднялись два новых дома, на тех местах, где за австрийскими окопами мы видели две груды обломков.

Я попытался найти следы старых окопов, чтобы показать жене, где находились наши позиции, но видел только ровный, зеленый склон. В густых зарослях кустов нам удалось отыскать ржавый фрагмент оболочки снаряда. По гладкой внутренней поверхности я смог определить, что снаряд газовый. Это все, что осталось от фронта.

На обратном пути, сидя в автомобиле, мы говорили о том, как хорошо, что Фоссалта отстроилась, и все семьи смогли вернуться в свои дома. Мы говорили, что гордимся итальянцами, которые, сцепив зубы, восстанавливали разрушенное, тогда как другие страны показывали превращенные в руины города туристам и, ссылаясь на них, требовали репатриаций. Об этом, наверное, и полагалось говорить добропорядочным людям... а потом мы перестали говорить. Высказали все. И оба погрустнели.

Потому что реконструированный город выглядит куда печальнее разрушенного. Люди не вернулись в свои дома. Теперь они живут в новых домах. Дом, в котором они играли в детстве, комната, в которой они любили друг друга при потушенной лампе, очаг, около которого они сидели, церковь, где они венчались, комната, в которой умер их ребенок, все ушло. Разрушенный в войну городок всегда выглядит достойно, потому что погиб не зазря. Он погиб ради чего-то, и чего-то лучшего. Стал частью великой

жертвы. А теперь это новое и уродливое место жительства. Все здесь, как и было раньше... только чуточку хуже.

Мы шли по улице, где у меня на глазах погиб мой лучший друг, мимо уродливых домов, к нашему автомобилю, хозяин которого никогда не купил бы его, если б не война, и выглядело все это очень скверно. Я пытался что-то воссоздать для моей жены и потерпел полную неудачу. Прошлое умерло, как разбитая виниловая пластинка. Гоняться за вчерашним днем — занятие бесполезное... и если вам нужны доказательства, побывайте там, где воевали.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ НА ПРОДАЖУ

«Торонто стар уикли»,

8 декабря 1923 г.

Какова рыночная цена отваги? В магазине наград и монет на улице Аделаиды продавец ответил на мой вопрос:

«Нет, мы их не покупаем. Нет спроса».

«Много людей приходит, чтобы продать боевые награды?» — спросил я.

«Да. Они приходят каждый день. Но мы не покупаем награды этой войны».

«А что они приносят?»

«Обычно медаль в честь победы, медаль «Звезда 1914», много «Военных медалей», иногда приносят «Медаль за безупречную службу» или «Военный крест». Мы советуем им идти в ломбарды, где они смогут потом выкупить медали, если за них дадут какие-то деньги».

Репортер отправился на улицу Королевы и зашагал на запад, мимо сверкающих витрин с медными кольцами, лавок старьевщиков, дешевых парикмахерских, комиссионных магазинов одежды и лоточников в поисках рынка отваги.

В ломбарде его встретили той же историей.

«Нет, мы их не покупаем, — объяснил молодой человек с блестящими от бриолина волосами, стоявший за прилавком с невыкупленными вещами. — Рынка для них нет совершенно. Да, они приходят сюда с самыми разными наградами. Да, и с «Военными крестами». На днях один мужчина принес орден «За боевые заслуги». Я направляю

их в комиссионные магазины на Йоркской улице. Там берут все».

«А сколько вы могли бы мне дать за «Военный крест»?» — спросил репортер.

«Очень сожалею, но боевые награды мы не берем».

Репортер вышел на улицу Королевы, и следующей его остановкой стал первый попавшийся комиссионный магазин. В окне увидел лист бумаги со словами: «МЫ ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ ВСЕ».

Открывающаяся дверь звякнула колокольчиком. Из подсобки вышла женщина. На прилавке грудой лежали сломанные звонки, будильники, ржавые плотницкие инструменты, старые железные ключи, куклы-голыши, игральные кости, сломанная гитара и многое другое.

«Что вам угодно?» — спросила женщина.

«У вас есть боевые награды, которые вы могли бы продать?» — полюбопытствовал репортер.

«Нет. Мы их не держим. А что вы хотите? Принесли что-то, чтобы продать?»

«Само собой, — ответил репортер. — Сколько вы мне дадите за «Военный крест»?»

«А что это?» — подозрительно спросила женщина, сунув руки под фартук.

«Боевая награда, — ответил репортер. — Серебряный крест».

«Из настоящего серебра?»

«Наверное», — ответил репортер.

«А вы не знаете? Разве он не при вас?»

«Нет», — ответил репортер.

«Так приносите его. Если он действительно из серебра, я, возможно, сделаю вам хорошее предложение, — она улыбнулась. — Так вы говорите, их дают за участие в войне, да?»

«В каком-то смысле».

«Тогда не приносите его. Проку от них нет».

Репортер обошел еще пять таких же магазинов. Никто не покупал боевых наград. Из-за нулевого спроса на них.

В одном репортера встретило объявление: «МЫ ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ ВСЕ. ЦЕНЫ НА ПОКУПКУ САМЫЕ ВЫСОКИЕ».

«Что вы хотите продать?» — спросил стоящий за прилавком бородатый мужчина.

«Вы покупаете боевые награды?» — задал стандартный вопрос репортер.

«Послушайте, возможно, эти награды нужны на войне. Я не говорю, что не нужны. Понимаете? Но для меня бизнес есть бизнес. Зачем мне покупать то, что я не смогу продать?»

Бородатый объяснил все мягко и доходчиво.

«А сколько вы дадите мне за эти часы?» — спросил репортер.

Владелец магазина очень внимательно их осмотрел, не поленился снять крышку, потом поднес часы к уху и послушал.

«Хорошо тикают», — указал репортер.

«Эти часы стоят максимум шестьдесят центов», — уверенно заявил бородатый.

Репортер двинулся дальше по Йоркской улице. Комиссионные магазины встречались на каждом углу. Он узнал цену своему пальто, за часы ему предложили уже семьдесят центов, за практически новый портсигар — сорок. Но никто не хотел купить или продать боевые награды.

«Каждый день кто-то приходит с предложением продать медали. Вы — первый за несколько лет, кто захотел их купить», — сказали ему в одном из магазинов.

Наконец, чуть ли не в самом захудалом магазинчике, репортер нашел продающиеся боевые награды. Женщина, которая там хозяйствовала, достала их из денежного ящика.

Репортеру предложили «Звезду 1914», медали «За службу» и в честь победы. Все чистенькие и сверкающие, словно их только что достали из наградных коробочек. Все с одним именем и личным номером. Ими наградили артиллериста одной из канадских батарей.

Репортер осмотрел их.

«И сколько они стоят?»

«Я могу продать их только вместе», — осторожно ответила женщина.

«Сколько вы хотите за все?»

«Три доллара».

Репортер продолжал осматривать медали. Они являли собой признание королем заслуг некоего канадца. Его имя стояло на ободке каждой медали.

«Об именах не волнуйтесь, мистер, — убеждала его женщина. — Зачистить их — пара пустяков. Они вам хорошо послужат, эти медали».

«Не уверен, что я искал именно такие», — ответил репортер.

«Вы не ошибетесь, если приобретете их, мистер, — настаивала женщина. — Лучших вам не сыскать».

«Нет, не думаю, что я их возьму», — пробормотал репортер.

«Что ж, назовите свою цену».

«Нет».

«Назовите. Скажите, сколько они, по-вашему, стоят».

«Не сегодня».

«Любую цену. Это хорошие медали, мистер. Посмотрите

на них. Вы согласны заплатить доллар за все три?»

Выйдя на улицу, репортер посмотрел на витрину. Человек мог без труда продать сломанный будильник. А «Военный крест» — нет.

Здесь купили бы губную гармошку, но не медаль «За безупречную службу».

Человек мог продать старые военные портянки, но на медаль «Звезда 1914» покупателя бы не нашлось.

Рыночная цена отваги оставалась слишком заниженной.